

Гостье-

В ПРОЗЕ И СТИХАХ

Дмитрий
Быков

Наринэ
Абгарян

Евгений
Водолазкин

Марина
Степнова

Дмитрий
Воденников

Анна
Матвеева

Сергей
Шаргунов

Ана
Вагнер

Александр
Тенис

какое!

СОСТАВИТЕЛЬ МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ

Русский рассказ

Алексей Слаповский
Счастье-то какое! (сборник)

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Слаповский А. И.

Счастье-то какое! (сборник) / А. И. Слаповский — «АСТ»,
2018 — (Русский рассказ)

ISBN 978-5-17-107201-8

«Милости просим. Заходите в пестрый мир нового русского счастья... Вы и сами не заметите, как в погоне за его призраком окажетесь в сладком уединении, в чужом городе – однако ненадолго; как поколотите замучившего всех гада, как будете ждать рождения нового человека, как встретите брата из армии, жадными ложками будете глотать свадебный торт, запивая испанским хересом, – словом, заживете жизнью героев всех помещенных в сборнике историй». В сборник вошли новые рассказы известных писателей (Н. Абгарян, М. Степновой, А. Гениса, М. Москвиной, Е. Бабушкина и многих других), стихотворения М. Степановой, К. Капович, П. Барсковой, С. Гандлевского, Л. Оборина, Д. Воденникова, Д. Быкова, а также лучшая проза выпускников Школы литературного мастерства «Creative Writing School».

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-107201-8

© Слаповский А. И., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Майя Кучерская	6
Счастье-то какое!	9
Дмитрий Быков	9
Марина Степнова	12
Наринэ Абгарян	19
Марина Вишневецкая	24
О цели слов	24
Мечта и мечта	24
Новое поколение	24
Что есть счастье	25
Семь и семь	25
Голая правда	26
Анна Матвеева	28
Ксения Букша	36
Катя Капович	43
«Чуден вечер природы...»	43
Памяти Николая Гумилева	43
Покупка	44
Евгения Некрасова	45
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Счастье-то какое!

В прозе и стихах

© Н. Ю. Абгарян, Е. А. Бабушкин, П. Ю. Барскова и др., 2018.

© Составление, оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018.

Майя Кучерская

Счастливо значит долго

Вместо предисловия

Известный историк раннего кино Юрий Цивьян ввел замечательное понятие: Russian endings, русские финалы. Цивьян обнаружил: фильмы, сделанные в России и рассчитанные на нашу аудиторию, обычно завершались трагически, но в тех же самых фильмах, предназначенных на экспорт, конец нередко изменялся с печального на счастливый. Русская версия картины «Рукою матери» Якова Протазанова, например, венчалась гибелью героини и гробом, американская – неожиданным спасением бедной Лидочки.

«Несчастные» русские финалы в черно-белом кино стали логичным продолжением печальных финалов, отлично освоенных русской литературой. Начиная с «Бедной Лизы» Карамзина, русская словесность исполняла нескончаемую погребальную песнь по счастью, из романа в роман, из пьесы в пьесу оплакивая раннюю смерть или гибель героев, заламывая руки над абсолютной невозможностью любить любимых и никакими силами неотменимой нуждой оставаться с постылыми. Исключения, редкие и словно бы случайные, только усиливали этот общий поминальный настрой.

Хеппи-энд – это не про нас, русская литература лучше всего умеет рыдать. Изредка строить утопии из алюминия и стекла, смешные и нежизнеспособные. В крайнем случае рассказывать об озарениях, которые вполне заменяют пережившим их героям счастье; а поскольку к этому особенно склонны лучшие наши авторы, то прозрения в русской прозе получаются действительно сильными. Живой колеблющийся глобус Пьера Безухова, звездное небо Алёши Карамазова, не говоря уж о небе с ползущими облаками Андрея Болконского. Но и это почти всегда – довольно странное счастье, как правило, полученное ценой довольно ощутимых утрат.

Неужели описание полноценного, спокойного счастья – действительно экзотика для русской литературы? Неужели счастье на русском языке невозможно? Так думала я каждый раз, открывая очередной русский роман и замирая: может быть, здесь?

Вот очередной. Герой влюблен, очарован, наконец-то он созрел до подлинной глубины чувства, и вот он гуляет в любовной горячке вокруг *ее* дома, тут и *она* выходит в сад. Они сталкиваются.

Повезло-то! Встретил в полночь ту самую, о которой мечтал, вот она перед тобой, в ночном саду, выкрикни ей поскорее: люблю! А он выкаркивает, выкаркивает, еле-еле:

«– Я не думал прийти сюда, – начал он, – меня привело... Я... я... я люблю вас, – произнес он с невольным ужасом».

С ужасом. Еще бы, наконец-то влюбился всерьез, может ли быть что-то ужаснее?

Что же она? Рада, улыбается ему? Разумеется, нет! Тоже ужасается и плачет. Юная, красивая, ясная вступает в рассвет своей женской жизни, полюбил добрый, порядочный, благородный человек, чего ж еще? Но нет.

«Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами.

– Мне страшно; что это мы делаем? – повторила она.

– Я вас люблю, – проговорил он снова, – я готов отдать вам всю жизнь мою.

Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу.

– Это всё в божьей власти, – промолвила она.

– Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?

Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо... Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ».

«Дворянское гнездо» Тургенева. Вместо сцены обретения полноты – сцена почти изнасилования. Изнасилования счастьем, которое тургеневским девушкам не нужно даром.

И не только тургеневским. Один знаменитый роман целиком теме счастья посвящен.

Вот Анна Каренина возвращается из Москвы, где ей удалось помирить Долли и Стиву, параллельно расколов мир Кити и навсегда пленив Вронского. В поезде Анна читает роман. Это английский роман. Ей хочется жить жизнью его героев, делать всё то же, что они, – ухаживать за больными, скакать на лошади. Но чем дальше, тем Анне делается беспокойнее.

«Герой романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? „Чего же мне стыдно?“ – спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было».

Было, было стыдное! Счастье. Счастье стыдно. Тем более английское, оскорбительно низкое, материальное, с баронетством и имением.

Потому и Вронский, добившись, наконец, от Анны того, чего желал целый год, восклицая, что она жизнь его, что теперь достигнуто именно оно (о наконец-то!), счастье, слышит в ответ:

«Какое счастье! – с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. – Ради бога, ни слова, ни слова больше».

В осуществлении желания, в соединении двух любящих людей один только ужас, отвращение. Но имение Воздвиженское Вронский и Анна, подобно героям читанного в поезде романа, все-таки обустраивают, и на английский манер, с щегольством и роскошью; Анна даже признается приехавшей к ней в Воздвиженское Долли, что «счастлива до неприличия». Впрочем, и это вскоре обернется мороком, самообманом, а там и «угасшей свечой».

Вот и разгадка феномена русских финалов. Вот почему вскоре тот же закон переместился в кино. Русские по-другому не понимают и не чувствуют. Так что когда американцы и европейцы под титры ликовали, радовались соединению возлюбленных, внезапному наследству, прощению, преображению, освобождению героев от всех бед и невзгод, русские испытывали катарсис, наблюдая, как главный герой умирает, а любящие друг друга люди разъезжаются навсегда. В мгновение счастья обязательно заколачивался гвоздь.

Формула этой любви скрыта в стихотворении Батюшкова, посвятившего свой текст как раз Аркадии счастливой и жившей в ней пастушке.

Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой;
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах
Минутны радости вкусила:
Любовь в мечтах златых мне счастье сулила;
Но что ж досталось мне в прекрасных сих местах?
Могила!

Но, вопреки очевидному, мне отчего-то по-прежнему хотелось прочитать, наконец, истории на русском языке – о счастье, не лубочном, не украденном на два часа, а глубоком, долгом, свободном, безбрежном, без крышек и могил. И пусть любимый русскими авторами механизм, который они ошибочно связывали кто с христианской системой ценностей, кто с законами бытия – «счастье надо заслужить», – наконец хряпнет и сломается, потому что он ложь, обман, сужение бесконечности неба. Ничего не надо заслуживать. Бог милостив. Радуйся и веселись.

И еще мне хотелось понять, какое же оно, наше русское счастье сейчас, сегодня, в XXI веке. При каких условиях и в каких пределах возможно.

Так и родился этот сборник.

Вместе с Редакцией Елены Шубиной мы попросили современных авторов написать рассказ или эссе про счастье. А чтобы картина получилась полноцветной, обратились не только к известным, но и совсем к молодым писателям, в том числе выпускникам литературной школы Creative Writing School, которой я руковожу. Нам подумалось, может быть, у непоротого поколения со счастьем дело обстоит иначе? И конечно, пригласили поэтов.

И – поразительно! – получилось.

Легче всего про счастье говорить, разумеется, стихотворцам. Им же не говорить – петь, курлыкать, а поется про счастье проще.

Однако и многие авторы прозаических текстов рассказали о счастье так, как, кажется, прежде о нем не говорили.

Милости просим. Заходите в пестрый мир нового русского счастья вместе с нами. Вы и сами не заметите, как в погоне за его призраком окажетесь в сладком уединении, в чужом городе – однако ненадолго, как поколотите замучившего всех гада, как будете дышать паром в гладильной туберкулезного диспансера, как с перехваченным от ужаса горлом будете ждать рождения нового человека, как испытаете отчаяние перед входом в детский сад, встретите брата из армии, жадными ложками будете глотать розовый свадебный торт, запивая испанским хересом, – словом, заживете жизнью героев всех помещенных в сборнике историй и из всех переделок внезапно вынырнете счастливым. Потому что эти рассказы действительно про счастье. Даже удивительно, как всем авторам удалось передать это ощущение, ощущение реальности и абсолютной возможности счастья. Может быть, секрет здесь в множественности этих возможностей.

Счастье – это когда ты живой. Ешь борщ из щавеля, смотришь красивый фильм, дышишь. Потому что жизнь – трудная, сплетенная из разлук, боли, утрат – дар.

Счастье – это когда ты взрослый и отвечаешь за себя.

Счастье – это движение вперед.

Счастье – это когда ты спокоен.

Счастье – это внутренняя трезвость.

Счастье – когда ты любишь, ну, конечно.

Счастье – это иногда укол, мгновение, но оно может оказаться длиной в жизнь, оно запросто может стать синонимом «долго», да-да, как совсем в другом варианте русского финала: жили они долго и счастливо.

Счастливо = долго.

Счастье-то какое!

Дмитрий Быков
Счастье

1.

Старое, а в чем-то новое
чувство начала февраля,
Небо серое, потом лиловое,
крупный снег идет из фонаря.

Но ясно по наклону почерка,
что всё пошло за перевал,
Напор ослаб, завод кончился,
я пережил, перезимовал.

Лети, снег, лети, вода замерзшая,
посвети, фонарь, позолоти.
Всё еще нахмурено, наморщено,
но худшее уже позади.

И сколько ни выпади, ни вытеки —
все равно сроки истекли.
(Я вам клянусь: никакой политики,
это пейзажные стихи.)

Лети, щекочущее крошево, гладь лицо,
касайся волос.
Ты слышишь – всё кончено, всё кончено,
отпраздновалось, надорвалось.

Прощай, я пережил тебя, прости меня,
всё было так бело и черно,
Я прожил тут самое противное и вел себя,
в общем, ничего.

Снег, снег, в сумятицу спушусь твою,
пройду, покуда все еще спят, —
И главное, я чувствую, чувствую,
как моя жизнь пошла на спад.

Теперь бы и жить, чего проще-то,
довольно я ждал и горевал, —

Но ясно по наклону почерка,
что всё идет за перевал.

Кружится блестящее, плавное,
подобное веретену.
При мне свершилось тайное, главное,
до явного я не дотяну.

Бессонница. Ночь фиолетова.
Но я еще наплюсь, наплюсь.
Всё вверх пойдет от снегопада этого,
а жизнь моя – на спуск, на спуск.

Нравится мне это испытание
на разрыв души моей самой.
Нравится мне это сочетание,
нравится до дрожи, Боже мой.

2.

Но почему-то очень часто
в припадке хмурого родства
Мне видится как образ счастья
твой мокрый пригород, Москва.
Дожливый вечер, вечно осень,
дворы в окурках и листве,
Уютно очень, грязно очень,
спокойно очень, как во сне.
Люблю названия этих станций,
их креозотный, теплый чад —
В них нету ветра дальних странствий,
они наречьями звучат,
Подобьем облака ночного
объяв бессонную Москву:
Как вы живете? Одинцово,
бескудниково я живу.
Поток натруженного люда
и безысходного труда,
И падать некуда отсюда,
и не подняться никуда.
Нахлынет сон, и веки тяжки,
и руки – только покажи
Дворы, дожди, пятиэтажки,
пятиэтажки, гаражи.
Ведь счастье – для души и тела —
не в переменах и езде,
А в чувстве полноты, предела,

и это чувство тут везде.
Отходит с криком электричка,
уносит музыку свою:
Сегодня пятница, отлично,
два дня покоя, как в раю,
Толпа проходит молчаливо,
стук замирает вдалеке,
Темнеет, можно выпить пива
в пристанционном кабаке,
Размякнуть, сбросить груз недели,
в тепло туманное войти —
Всё на границе, на пределе,
в полуживотном забытьи;
И дождь идет такой смиренный,
и мир так тускло озарен —
Каким манком, какой сиреной
меня заманивает он?
Всё неприятно, некрасиво,
неприбрано, несправедливо,
ни холодно, ни горячо,
Погода дрянь, дрянное пиво,
а счастье подлинное, чо.

Марина Степнова

Эфир

Утром 31 марта 1870 года стало ясно, что до вечера Надежда Александровна Борятинская не доживет.

Это понимали все – и князь, и Танюшка, и терпеливо дремлющий в гостиной батюшка, уже дважды соборовавший не заметившую этого страдальицу, и петербургский доктор, месяц проживший в доме, но так и оставшийся безымянным, чужим. Попрытались по им одним известным закоулкам и углам сбитые с толку, напуганные слуги, и сам дом застыл, сжался, словно готовился к удару извне. Только сад шумел как ни в чем не бывало – мокрый, черный, веселый, словно лаком залитый гладким солнечным светом. Сад чавкал жидкой грязью, шуршал недавно вернувшимися грачами, то и дело встряхивался, роняя огромные радостные капли.

Набирался сил.

И Надежда Александровна, слушая этот влажный радостный законный шелест и переплеск, единственная не знала, что умирает.

Она рожала вторые сутки и последние несколько часов уже не чувствовала боли, потому что наконец вся находилась внутри нее, как будто в сердцевине тонкого, докрасна раскаленного, жидкого шара, который всё выдувал и выдувал из трубки громадный меднорукий ремесленник из Мурано, и всякий раз, когда шар, медленно поворачиваясь, вспыхивал огненным и золотым, Надежда Александровна изумленно всплескивала руками и, забыв приличия, всё тянула за рукав молодого мужа, который вдруг, в незамеченный ею момент, превратился в отца и взял восхищенную маленькую Наденьку на руки, а стеклодув всё округлял херувимно щеки, усердствуя, и густой стеклянный пузырь становился больше и больше, так что Наденька и боялась, что он лопнет, и хотела этого. Сквозь тягучее и алое изредка мелькали чьи-то лица, неузнаваемые, далекие, чужие, а потом отец тоже исчез, и Надежда Александровна, жмурясь от жара, осталась внутри огненного шара одна.

Нет, не одна, это она теперь держала на руках ребенка – девочку лет пяти, горячую, необыкновенно тяжелую, и девочка эта непостижимым образом была и ее дочь, и она сама. Девочка подпрыгивала, тянулась к чему-то, чего Надежда Александровна не видела и не могла, но всякий раз, когда мягкие детские кудряшки, подхваченные рдеющими шелковыми лентами, касались ее щеки, испытывала острую, долгую судорогу счастья.

В том, что Борятинская умирала и не знала об этом, было великое милосердие, громадный и ясный промысел, который она ощущала так же верно, как тяжесть ребенка, сидящего на ее правой руке, и тот же промысел переполнял живительными соками мокрый сад за окном, и только шум этого пробуждающегося весеннего сада и держал еще Надежду Александровну в этом мире, точнее – она держалась за этот шум, будто за прохладную, немного влажную ладонь кого-то самого важного в жизни, родного.

Вся эта громадная, напряженная жизнь умирания никак не была видна снаружи, и для всех вокруг Надежда Александровна, измученная, с плоским, серым лицом, просто лежала у себя в спальне, придавленная громадным, изредка шевелящимся животом, и каждые четверть часа кричала так ужасно, что в сотне шагов от дома лошади в конюшне шарахались, будто от выстрела, и копытами выбивали из стен сочную щепу. Постель под Надеждой Александровной, холодную, тяжелую, промокшую от пота насквозь, переменяли тоже каждую четверть часа – и весь страх был в том, что эта четверть часа, отмерявшая промежутки от одной муки до другой, не менялась, не уменьшалась, хотя должна была. Это все понимали, даже нерожавшая Танюшка, самолично перестилавшая гладкие простыни, ладонью проверявшая каждую складочку на очередной сорочке – чтобы не заломилась, не дай Бог, не принесла лишней боли.

Зареванная так, что едва видела свет сквозь глянцево-слипшиеся напухшие веки, Танюшка все эти страшные дни не пила, не ела, выходила из спальни княгини только для того, чтобы шикнуть на ошалелую от усталости прислугу, но сквозь непритворную, по жилкам распускающую жалость все-таки тихо гордилась тем, что всего-то ее стараниями у господ напасено вдоволь – и простыней, и полотенец, и салфеток. Уж, кажется, десятками, сотнями изводили, а в лавандой надушенных шкафах всё не убывало, и на кухне вторые сутки дрожала в медных котлах тихая густая вода: одно полешко добавишь – в минуту закипит, и даже сыты в доме эти дни все были ее, Танюшкиными, умелыми незаметными распоряжениями. Ненавидела себя за гордыню эту греховную. Чего только ни перепробовала – и молитву преподобному Алексию, человеку Божьему, по молитвослову вычитывала, и под коленкой себя до синевы щипала, – а всё равно гордилась. А еще – нет-нет да и выгадывала – быстро, будто кусок со стола ворovala, – что и как будет, когда... Князь ведь – и года не пройдет как наново женится. И конец всему тогда – власти, покою, уважению. Как бы и вовсе из дому не попросили. А то и самой наперед уйти, не унижаться. Да куда только? Ведь с тринадцати годков при барышне. Всю свою жизнь ей под ножки белые положила. Танюшка взывала внутри себя, низко, жутко, густо – ыыыы! Тыкалась в край только что перестеленной постели, искала губами хозяйкину руку, но пальцы, прежде бесчувственно стиснутые, в полдень 31 марта вдруг ускользнули – побежали суетливо по одеялу, по простыням, пригладили волосы, затеребили на рукавах сорочки кружева и мережки, будто готовясь к близкой уже, невысказанно важной встрече.

Надежда Александровна обиралась.

Танюшка присмотрелась – и завывала уже в голос, открыто, забыв про подлые свои мысли – от животной, невозможной жалости; и словно в ответ, закричала, корчась от новой бесполезной схватки, Надежда Александровна – и на двойной этот крик сорвался с кушетки в своем кабинете Борятинский, от отчаяния за эти дни совершенно оцепеневший, прибежал, колыхая чревом, батюшка, грохнула хрупкую стопу фарфора ошалелая кухарка, загомонили, сталкиваясь, слуги – кончается, ой, помилуйгосподи, кончается-а-а-а-а!!! И даже на гладком голубоватом лице доктора мелькнуло что-то вроде человеческого чувства.

Потрудитесь посторониться, господа, да господа же! вы мешаете мне осмотреть больную!

За всеобщей бессмысленной суматохой никто не заметил, как хлопнула входная, парадная дверь. Хлопнула – и снова распахнулась, да так и осталась полуоткрытой. А когда хватились – кто входил? кто выходил? – ничего так и не добились, и на полу не было ни следочка – ни человеческого, ни звериного, только пара прошлогодних листьев лежала на мраморной плитке – ссохшихся, будто обугленных, завернувшихся по краям.

Это смерть вошла наконец в дом.

Тронула занавеси. Подышала на зеркала. Поднялась, не касаясь перил, наверх. Заглянула во все комнаты – тихая, милосердная. Шум очень мешал ей, и свет, и человеческий ужас, и суета. Смерть нуждалась в темноте и в укрывности, но не хотела мучить Надежду Александровну до самой ночи. Она вообще не хотела мучить. Да, пожалуй, и не могла. Мучила жизнь. Смерть даровала только покой. Потому в два часа пополудни, когда смерть окончательно заполнила дом, заснули все – и челядь, и господа, и кухаркин любимец кенарь, и даже собаки. Свалились, кто где стоял и сидел, – намучившиеся, измаявшиеся от чужого страдания без всякой меры. И даже сад застыл у окна Надежды Александровны, приподнявшись на цыпочки и боясь шелохнуться.

Борятинская внутри своего шара прикрыла уставшие от потустороннего жара глаза. Она больше не видела ничего снаружи – стеклянные стенки стремительно густели, застывали, становясь непроницаемыми, а девочка, которую она держала, становилась всё тяжелее и тяжелее, брыкала толстыми ножками, вырывалась. Но Надежда Александровна почему-то знала, что отпустить ребенка нельзя, невозможно, и потому прижимала девочку к себе всё крепче и крепче, пытаясь укачать – шшш, ааа, шшш, ааа.

Петербургский доктор, единственный человек в доме, который не заснул, не подчинился смерти и даже, кажется, не заметил ее, наклонился к Борятинской, прислушался к короткому, стонущему дыханию.

Шшш, ааа, шшш, ааа.

Схватки не прекратились, но Надежда Александровна больше не кричала – и ему это не нравилось. Честно говоря, в усадьбе с нелепым именем Анна ему не нравилось всё – и старый неловкий дом, и такая же старая неловкая роженица, осмелившаяся взяться за труд, не всегда посильный и для молодых здоровых женщин, и князь, целый месяц изводивший его своими ипохондриями. Даже воистину непристойный гонорар, который доктор заломил за свой приезд, теперь не радовал, а раздражал безмерно. Он бы давно отказался и уехал, перепоручив княгиню любому согласившемуся коллеге, но не учел того, что весна в Петербурге и в провинции отличалась столь же сильно, как нравы и моды. Март, в столице звонкий и гладкий от последних морозов, в Воронежской губернии обернулся сущим бедствием. В считанные дни мягко, почти беззвучно открылись реки, туман аккуратнo, споро, будто кот простоквашу, подожрал осевший снег – и всё разбухло, полезло через край, могучее, непристойное, живое. Жирная сытная воронежская грязь попросту заперла доктора в усадьбе – и до обитаемого мира было не добраться ни вплавь, ни на лошадях, ни пешком.

Доктор достал акушерскую трубку – гладкую, деревянную, еще раз сложился циркульно, выслушивая огромный живой живот. Маленькое сердце внутри билось сильно и ровно, но уже немного чаще, чем нужно. Ребенок был жив и хотел родиться. Он был готов. И мог. Но мать не пускала его. Здравый смысл, долг и руководство к изучению женских болезней Китера наперебой требовали немедленно произвести кесарево сечение и извлечь ребенка из утробы, но – доктор еще раз приложил трубку к животу Борятинской, пробежал чуткими пальцами по болезненно натянутой коже – было поздно. Слишком поздно. Головка уже вошла в лонное сочленение. Ребенок оказался в ловушке. Еще пара часов, и он начнет задыхаться. А потом умрет. Сначала мать. А после он.

И это будет долгая смерть. Очень долгая. И страшная.

Доктор представил себе ребенка, заживо погребенного внутри мертвой матери, и перевернул горлом. Сын своего века, он вырос под мрачные рассказы о воскресших в могиле покойниках и больше загробных мук, больше порки даже, в детстве боялся летаргии.

Оставались, конечно, щипцы. Старые добрые щипцы Симпсона. Но он их забыл. Забыл. Оставил в Петербурге. В кабинете. В правом верхнем ящике стола. Идиот! Нет, дважды идиот – потому что обнаружил это только сегодня утром, беспощадно выпотрошив весь багаж. Книги. Подтяжки. Исподнее. Носовые платки. Хрустнувшая под подошвой любимая лупа. Даже если бы послать за щипцами (куда? в Воронеж? за девяносто с гаком верст?) было возможно теоретически, всё равно – поздно. А уж по грязи этой несусветной...

Сад за плотно занавешенным окном шумно встряхнулся – словно злорадно хохотнул – и швырнул в стекло пригоршню громких капель.

Доктор посмотрел на Борятинскую с ненавистью. Если бы эта благородная немочь согласилась ему помочь! Если бы потрудились хоть немного потужиться!

Ваше сиятельство!

Шшш, ааа, шшш, ааа.

Девочка наконец перестала вырываться, положила на плечо Борятинской горячую тяжелую голову и затихла. Сейчас заснет наконец, слава Богу. Борятинская попыталась пересадить ребенка поудобнее, но не смогла – правая рука была совсем мертвая, деревянная. И такой же мертвый, деревянный был теперь воздух вокруг. Радостные жаркие переливы ушли, стало заметно темнее и прохладнее.

Шар стремительно остывал. Мир Борятинской тоже.

Вот и хорошо. Видишь, солнышко село. Танюша наша гардины задернула. Спи, ангел мой. Спи. И мама тоже немного поспит.

Шшш, ааа, шшш, ааа.

Вы меня слышите, ваше сиятельство?

Борятинская молчала. От носа к губам неторопливо ползла синюшная тень. Схватка, недолгая, как рябь по воде, еще раз смяла распластанное на постели тело. Доктор машинально сверился с часами – вместо четверти часа прошло двадцать минут. Не хочет больше рожать. Не может. Устала. Провалилась всю жизнь в мягких креслах – и устала!

Доктор открыл саквояж, достал тяжелую темную склянку. Потянул было из кармана платок, но передумал. Поискал глазами – да вот же! – и подобрал с пола тонкое смятое полотенце. Зубами выдернул тугую пробку – стекло неприятно скрипнуло на зубах, холодком обожгло пересохший рот. В комнате запахло – резко, сладко, сильно. Доктор, стараясь не дышать носом, прижал горлышко флакона к сложенному вчетверо полотенцу.

Он не был первым и не собирался. Первыми были, к сожалению, другие. Впервые новорожденного, явившегося миру под эфирным наркозом, принял еще двадцать с лишним лет назад Джеймс Симпсон, шотландский гинеколог, выдающейся смелости нахал, великий выскочка, которого акушеры всего мира почитали как Бога, а попы едва не сожрали живьем. Ибо умножая умножу печали твоя и зачатие твое, и в болезнях родиши чада. В тех первых эфирных родах младенец умер. Девочка. Девочек почему-то не так жалко. Симпсон тогда поставил на хлороформ – и преуспел. В 1853 году под хлороформным наркозом родила своего седьмого ребенка, принца Леопольда, сама королева Виктория – и муки первородного греха в Европе отменились практически официально. Но до России всё доходило медленно, слишком медленно. Даже самые знатные пациентки доктора предпочитали рожать чада в предначертанных страданиях. Потому наркоза – ни эфирного, ни хлороформного – он не давал ни разу в жизни. Только читал в «Ланцете», как это делали другие.

Хлороформа у него, впрочем, всё равно не было. Как щипцов. И хоть малейшей уверенности в том, что он поступает правильно.

Полотенце наконец пропиталось эфиром полностью. Доктор медленно закупорил почти опустевший флакон. Конечно, ему следовало заручиться согласием. Мужа. Самой пациентки. Перечислить риски. Выслушать сомнения. Хотя бы спросить. Но спрашивать было некого. Доктор представил себе, как он долго будит камердинера их сиятельства, который только и смеет тревожить священный хозяйский сон, и как их сиятельство так же долго отказываются просыпаться, а потом еще дольше занимаются туалетом и кушают свой кофий, потому что светские приличия не позволяют князю быть на людях неприбранным и несвежим, зато прекрасно позволяют его жене умереть в глуши только потому, что этот старый дурак не соизволил отвезти ее рожать в Петербург.

Надежда Александровна!

Доктор вдруг понял, что едва ли не впервые называет свою пациентку по имени – это тоже запрещали светские приличия, условности, липкие, как паутина, и такие же невидимые. Он был человеком второго сорта. Здесь, в этом доме. И вообще. Место в самом дальнем углу стола. Если к столу вообще приглашали. Да, его помощи искали, его советами не осмеливались пренебрегать. В конце концов, его боялись и даже ненавидели – как полномочного представителя смерти, обладающего правом отсрочки приговора. Но даже всё это вместе не давало ему права считаться порядочным человеком.

Доктор взвесил полотенце на ладони.

Что ж, пусть. По крайней мере, он хотя бы попытается.

Надежда Александровна. Старайтесь дышать глубже и ничего не бойтесь. Я дам вам наркоз.

Борятинская чуть приподняла брови, будто изумляясь такой дерзости. Синяя тень залила ее лицо почти полностью – тень смерти, которая давно вошла в комнату и стояла у кровати, сострадательно наклонясь.

Доктор вдохнул всей грудью, словно наркоз предназначался ему самому, и прижал к лицу Надежды Александровны тяжелое от эфира, ледяное полотенце.

Десять. Девять. Восемь.

Шар лопнул разом, весь – пошел хрустящими трещинами, как утренний ледок под неосторожной стопой, но вместо грязной густой воды сквозь осколки хлынул свет, такой нестерпимый, что Надежда Александровна вскрикнула, зажмурясь, и почти сразу же поняла, что потеряла ребенка.

Семь. Шесть. Пять.

Девочки нигде не было, хотя Надежда Александровна была уверена, что не разжимала рук, скрюченных от многочасовой усталости. Она бы и не могла бы их разжать, пожалуй – не сумела физически, но девочки не было. Не было! Дочки! Ее дочки. Борятинская завертелась внутри безжалостного света – ослепленная, обескураженная, моргая голыми мокрыми веками.

Господи! Не вижу. Не вижу ничего. Отчего так светло?!

Она хотела позвать – но не знала как. Имя ребенка, которое она давно выбрала сама и твердо помнила еще несколько минут назад, ускользало, вместо него зудело в голове имя давно выросшей Лизы, и Борятинская отмахнулась от него, как от назойливой осы.

Не Лиза, нет.

Как?!

Перед глазами плыли, сливаясь, алые и черные пятна.

Мама! Мама-а-а-а!

Надежда Александровна, совсем уже слепая, вскинулась, побежала на этот крик, натываясь руками на какие-то голые ветки, – вокруг всё хрустело, рушилось, рвалось, лопались невидимые плотные пленки, а девочка всё звала откуда-то из глубины холодного сладкого света – мама! мама!

И вдруг Борятинская вспомнила.

Наташа! – закричала она в ответ – и свет разом погас.

И только в темноте, такой же непроницаемой, как свет, детский голос сказал отчетливо и сердито:

Не Наташа. А Туся.

Где-то далеко хлопнула дверь – и весенний сквознячок тотчас нежно и торопливо ткнулся в Надежду Александровну упругими холодными губами. Приложился ко лбу, к векам – будто приласкался.

Это смерть – поняла Надежда Александровна без всякого страха.

Дверь хлопнула еще раз.

Закрылась.

После этого осталась только темнота.

* * *

Когда князь наконец проснулся – последним в доме вынырнув из короткого дневного морока, всё было кончено. В спальне жены гомонили, и он поспешил на этот шум, боясь вслушаться (неужто плачут? Исусе! Помилуй и обнеси!). Рванул дверь на себя, запрыгал испуганными глазами – опрокинутый таз, мокрые простыни, доктор, ожесточенно копающийся в саквояже, – руки так и ходят от крупной дрожи, князь машинально отметил – будто после боя – и тут же забыл, потому что увидел Наденьку, слава Богу, живую. Она сидела в постели, остро подняв обтянутые измятой сорочкой колени, и, странно наклонив голову, смотрела куда-то

вниз. Волосы, светлые, прекрасные, сбились за эти дни в большой колтун, который пыталась разобрать зареванная еще пуще прежнего Танюшка, причитая про косыньки мои косыньки, да неужто отрезать придется?

Вот кто выл, значит. Старая дура!

Ma chère âme!¹

Надежда Александровна отвела Танюшкины руки, будто лезущую в глаза назойливую ветку, и подняла на Борятинского глаза – почти черные от огромных, плавающих зрачков.

Тссс! – сказала она строго. Тссс! Поди вон! Ты не смеешь... Нет-нет, иди ближе! Я... Мне надо тебе сказать.

Она так странно, с особым усердием складывала неловкие, словно онемелые губы, так старалась смотреть Борятинскому прямо в глаза, что князю на мгновение показалось, что жена его мертвецки пьяна, – мысль настолько дикая, что он и додумать ее не посмел.

Я умерла! – сказала Борятинская звонко. – Умерла. Совсем.

Борятинский беспомощно посмотрел на доктора. Точно – пьяна. Надралась почище гвардейского ротмистра. Или свихнулась?

Доктор, не поднимая головы, продолжал копаться в саквояже.

И мне было видение. Я всё знаю теперь. Всё! Да что ты стоишь? Подойди же!

Борятинский подошел, осторожно, будто жена могла кинуться на него, повел даже носом, но нет – в комнате пахло только потом, запекающейся, умирающей кровью – будто правда после боя, и чем-то еще – свежим и сладким.

Смысл жизни теперь открыт мне. Вот, смотри!

Надежда Александровна опустила колени – на животе у нее лежал, кривя беззвучный ротик, крепким поленцем спеленутый ребенок, краснолицый, сморщенный и жуткий, как все новорожденные.

Je le trouve adorable, cet enfant-là!²

Это не мальчик. Это Туся. Моя дочь. Она и есть смысл всего.

Лицо Борятинской исковеркала, почти изуродовала судорога счастья.

Борятинский снова посмотрел на доктора. Тот щелкнул наконец застежкой саквояжа. Распрямился. Руки у него больше не дрожали. Наконец.

Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui arrive? Je³... Я... Я не понимаю. Это горячка?

Опомнившись, что совершил бестактность, князь перешел на русский, приличествующий в разговоре с людьми другого круга, и доктор, сильно покраснев, ответил по-французски, с правильным, хотя и немного деревянным выговором.

Их сиятельство и младенец здоровы. Это результат... – доктор замялся на мгновение, – чрезмерного напряжения и долгих родов. Через несколько часов всё будет благополучно. – Доктор вдруг вздернул голову и потребовал почти оскорбительно резко: – Извольте распорядиться, чтобы мне дали лошадей. Мои услуги в этом доме больше не требуются. Я возвращаюсь в Петербург.

Князь невнимательно кивнул, он смотрел на Надежду Александровну. Надежда Александровна не отрывала глаз от ребенка – это был новый узор их жизни, отныне и на долгие годы, навсегда, просто Борятинский еще не догадывался об этом.

Главное, Наденька была жива и здорова, здорова и жива.

Доктор сумел вырваться из раскисшей в грязи Анны только через сутки, но до Петербурга так и не добрался, хотя истратил большую часть своего баснословного гонорара на то, чтобы

¹ Душа моя! (*фр.*)

² Я нахожу этого мальчика очаровательным! (*фр.*)

³ Боже, что с ней случилось? Я... (*фр.*)

подхлестнуть смелость самых беспутных и отчаявшихся местных ямщиков. По-нильски щедро разлившийся Игорец всё равно пришлось преодолевать то волоком, то по пояс в густой черной жиже, вполне уже русской – безжалостной, цепкой, ледяной.

Боже милостивый, как же холодно! Холодно! Как болит голова!

Он потерял сознание в пяти верстах от Воронежа, успев распорядиться, чтобы его непременно отвезли в больницу. Боялся тифа, заразы, э-э-пидемии только н-не хватало. Оказалось – пневмония, от которой доктор и умер спустя три дня в просторной воронежской земской губернской больнице, в полном и ясном рассудке – человеческом и медицинском, на руках у старшего врача, Константина Васильевича Федяевского.

Последними его земными словами были: «Не хочу в эту грязь. Отдайте всё науке».

Федяевский, человек сердобольный и деятельный (что и позволило ему в итоге сделать блестящую общественную карьеру), волю коллеги выполнил – и самолично разъял тело петербургского доктора на препараты, на которых, как мыслил Федяевский, молодые воронежские лекари должны были восполнять недостаток практического образования. Однако то ли Федяевский (вообще-то офтальмолог) оказался скверным гистологом, то ли бездушные местные сторожа не вынесли долгого соседства с сосудами, полными спирта, но спустя несколько лет образцы были признаны безвозвратно испорченными и отправлены на свалку (Господь милостив – жаркую, летнюю, сухую). И только череп доктора, желтоватый, ладный, с безупречным зубным рядом, жил еще долго-долго, потому что Константин Васильевич Федяевский из уважения к коллеге (впрочем, понятого довольно превратно) оставил его у себя и хранил на столе в кабинете. Федяевский даже советовался с черепом в сложных случаях – не из суеверия, а всё из того же уважения, которое со временем переродилось просто в странноватую привычку.

В 1895 году к Федяевскому в Воронеж заехала Туся, двадцатипятилетняя, энергичная, ненадолго увлекшаяся общественной жизнью (Федяевский только что открыл в Малышево школу для крестьянских детей, Туся хотела такую же – в Анне), и весь десятиминутный визит, во время которого Федяевский, пуша ухоженную бороду, сыпал восторженными трюизмами, машинально поглаживала лежащий на столе череп своего физического восприимчивика – маленькой крепкой рукой, затянутой в смуглую горячую лайку.

Совпадение, невозможное в романе, но такое обыкновенное в человеческой жизни.

К слову сказать о пользе просвещения, любезнейшая Наталья Владимировна, череп сей принадлежал счастливейшему из смертных, эскулапу, который даже смерть свою сумел обратить на пользу науки. Звали его...

Федяевский запнулся, припоминая, и Туся, воспользовавшись паузой, прервала наскучивший разговор. В экипаже она понюхала перчатку и, сморщившись, бросила ее на мостовую.

Эфир! Не выношу этот запах.

А Федяевский, маясь, как от зубной боли, расхаживал по кабинету еще несколько часов, пока не выудил-таки из немолодой уже памяти имя петербургского доктора.

Михаил Павлович Литиновский.

Вот как его звали.

Действительно – счастливейший из смертных.

Наринэ Абгарян Ангелы

Больничный коридор – безликий и долгий тянулся мимо палат и процедурных кабинетов, огибал углы и путался в закутах, натыкался на медицинское оборудование и тележки со сменным бельем, старательно их обходил и тек дальше, мимо скамеек, мимо кадок с фикусами и выставленных аккуратным рядом кресел на колесах – если присмотреться, на боку каждого можно разглядеть нарисованное мелом сердце – к посту дежурных медсестер. Обогнув пост и резко повернув налево, коридор выбирался к просторному, занятому паутинным декабрьским сумраком лифтовому холлу, перейдя который пропадал в лабиринтах соседнего отделения.

Тоня которой уже раз подмечала опостылевшую обстановку клиники: тускло-рассеянное свечение потолочных ламп, обвешанные гладкими картинами серые стены, надменные металлические двери с простыми пластиковыми ручками, смотрящимися на стальном так же нелепо, как дешевые пуговицы на дорогом осеннем пальто. Желтоватое покрытие пола украшал ломкий узор – если идти, не фокусируя внимания, а словно бы скользя взглядом поверху, кажется, что под ногами – водная рябь.

Тоня ступала по этой ряби коломенской купчихой, чуть откинувшись назад и вздернув нос, прижимала к груди сумку с припасами – неизменный куриный бульон, овощи на пару, клюквенный морс, яблоки. От больничной еды привычно отказались – мать уже много лет обходилась без сахара и соли, да и к пище, приготовленной чужими руками, относилась с недоверием, потому никогда не посещала ресторанов и даже в приснопамятные девяностые, когда очередь к первому «Макдоналдсу» змеилась аж до концертного зала Чайковского, желания хотя бы заглянуть туда не выказала и дочь не пустила – затопчут! Тоня сходила с одноклассниками и потом рассказывала вздохом о бургерах и шоколадном коктейле: мамочка, это невозможная вкуснотища, ты такого никогда не пробовала, сходи, ну пожалуйста! Мать отчитывать ее за то, что ослушалась, не стала, только пожала плечом – ну и травись, раз охота!

– Один раз живем! – отмахнулась Тоня и, вспомнив о лекарствах, беспокоилась: – Ты таблетки приняла?

Мать всю жизнь маялась сердцем: врожденный порок, поздние роды, усугубившие положение, инфаркт в сорок лет, второй – в пятьдесят пять. После смерти бабушки, ушедшей, когда Тоне едва исполнилось двенадцать, она могла рассчитывать только на заботу дочери – из родных рядом никого не осталось, одни перебрались в Америку, другие давно оборвали общение – большой город, нелегкая жизнь, со своими проблемами бы справиться. Тоня до боли любила и беспокоилась за мать, ухаживала самозабвенно и преданно. Водила по врачам, строго следила, чтобы она принимала лекарства, настаивала на ежегодной госпитализации – к середине осени у нее всегда начинало скакать давление, справиться с которым без специального наблюдения не удавалось.

Отца Тоня не знала. Мать сначала отмахивалась от ее расспросов, а однажды, посчитав, что дочь достаточно выросла, чтобы всё верно понять, призналась, что родила от женатого коллеги, никакой любви, простая договоренность, он здоровый, красивый, и дети у него хорошие, я и попросила... Она оборвала себя, замялась, отвела взгляд.

– Переспать, – подсказала Тоня.

– От него не ubyло, а мне счастья прибавилось, – улыбнулась мать.

Тоня говорить ничего не стала, но потом заперлась в ванной комнате и вдоволь наплакалась – она отлично знала цену, которую пришлось заплатить за такое счастье. Решиться на непростым пороком сердца на роды не всякая сможет, но мать на это пошла, невзирая на строгий запрет кардиологов. На учет встала на четвертом месяце, из страха, что если покажется раньше – заставят избавиться от плода. Пролежала на сохранении оставшийся срок, родила

здоровую девочку, но надорвалась так, что через полгода получила первый инфаркт. Чудом выкарабкалась – в те времена о стентировании ничего не знали; если больные и выживали после обширного сердечного приступа, то только чудом.

Тоне было четырнадцать лет, когда мать заработала свой второй инфаркт, безысходный, тяжелейший. К счастью, «скорая» отвезла ее не в заштатную клинику, а в одну из ведущих, и попала она не к слабому специалисту, а к светилу Давиду Иоселиани. Он ее и спас, буквально вытащил с того света. Мать, очнувшись после наркоза, еле ворочая распухшим языком и мучаясь от накатывающих приступов боли, прошептала Тоне, которую, сжавившись над ее мольбами, пустили ненадолго в реанимационное отделение, что, кажется, умерла и на несколько секунд оказалась в раю. Тоня глотала слезы, наблюдая, буквально впитывая глазами резко осунувшееся мертвенно-бледное ее лицо, потемневшие пергаментные веки, капельки пота на лбу. Приподняла простынь, заметила расползшееся под голым бедром пятно, побежала за медсестрой, чтобы попросить перестелить. «Видно, катетер не до конца ввели», – хлопнула себя та по бокам и зашпешила в палату. Обратного Тоню не пустили, и она всю ночь просидела в приемном отделении, ушла под самое утро – вымотанная, со слипающимися глазами, но не домой, а в школу, где ее ждала контрольная по тригонометрии, пропустить которую было нельзя.

За высоким бортиком поста дежурных медсестер маячил край колпака, «только бы не Соболевская», взмолилась Тоня и ускорила шаг, но проскочить незамеченной не смогла – колпак вздрогнул и вынырнул из-за светлой перегородки.

– Здравствуйте, Мария Львовна, – скороговоркой поздоровалась Тоня и, навесив на лицо непроницаемое выражение, заторопилась мимо.

– Что несем? – каркнула вместо приветствия Соболевская.

Еще два шага – и дежурный пост остался бы позади, Тоня могла притвориться, что не расслышала вопроса, но делать этого не стала, памятуя о вьедливом характере старшей медсестры, которую терпеть не могла за категоричность и откровенную нахрапистость. Бабушка о таких говорила – совесть под каблуком, а стыд под подошвой. «Чтоб тебя жабы понадкусывали!» – в сердцах прошептав под нос ее любимое ругательство, Тоня вернулась к стойке и со стуком поставила на нее сумку. Соболевская хмыкнула, но возмущаться не стала, расстегнула молнию, нырнула туда носом, пошарила короткими толстыми пальцами – на безымянном блеснул кровавым круглый рубин в пошлом червонном золоте, ювелирная совковая штамповка. «Вылитая жаба», – со злым удовлетворением подумала Тоня, отметив про себя дряблое, обсыпанное возрастными пятнами лицо медсестры, близорукие, в вечном прищуре, бесцветные глаза и заметный пушок над верхней губой – подобно многим женщинам с примесью восточной крови, Соболевская старела стремительно и безвозвратно, навсегда растрачивая свою когда-то яркую и сочную красоту.

– Бульон куриный? – полюбопытствовала она, ткнув пальцем в прозрачный термос с нежно-золотистой жидкостью. Тоня растерялась, поймав насмешливый взгляд Соболевской – та смотрела так, словно прочитала ее мысли.

– Да! – ответила она, и, предвосхищая следующий вопрос, с поспешностью добавила: – Курицу брала, где вы советовали.

– Ладно, иди, – разрешила Соболевская и, почесав лоб под колпаком, уселась на место.

Тоне, которой пришлось через полгорода тащиться в Марьину Рошу за курицей, нестерпимо захотелось ее узавить.

– Это магазин вашего родственника? – спросила она и сразу же застыдилась своей бесцеремонности – в конце концов, ее туда не под дулом пистолета повели, сама пошла.

Соболевская вздернула в недоумении бровь.

– Какого родственника?

– Ну, кошерных продуктовых в Москве немало, я и подумала, что вы меня специально в тот отправили, чтобы... – Тоня стушеввалась, но упорно гнула свою линию, – чтобы вашему родственнику прибыль была.

– Иди к матери, – вздохнула Соболевская, – да смотри не расстраивай ее завихрениями своего пытливого ума: мы ей давление с вечера сбить не можем.

Тоня, позабыв обо всем, побежала в палату.

Перед тем как выйти, Антон с Вадиком заглянули попрощаться. Тоня лежала на боку, накрыв голову подушкой, и пыталась приноровиться к мучительной боли, ледяным панцирем затянувшей лоб и левый висок.

– Не отпускает? – спросил Антон, плотно придвигая края задернутых штор таким образом, чтоб не осталось даже малейшего просвета. Тоня приподняла край подушки, слабо помогала головой и сразу же скривилась – к горлу резко подступила тошнота. Она задержала дыхание, унимая дурноту, но на всякий случай подвинулась к краю кровати, чтобы можно было сразу подняться, если возникнет надобность бежать в ванную.

Вадик погладил ее по затылку – неловко, против роста волос, спросил срывающимся, сладко пахнущим какао и вафлями – Антон не стал затеваться с овсянкой – шепотом:

– Мамочка, ты же попгавишься?

Тоня нашарила его руку, поцеловала в горячую ладошку.

– Конечно! Мигрень – это так, ерунда. К вечеру буду как новенькая. Веришь?

Вадик ткнулся круглым лбом ей в щеку – вегю! У Тони защипало в носу, она шмыгнула и, чмокнув сына, снова накрылась подушкой.

Антон поставил на прикроватную тумбочку стакан с водой, пододвинул блистер с таблетками.

– Ты бы меньше плакала, родная.

– Хорошо.

Тоня подождала, пока за ними закроется дверь, – и заскулила – тонко и беспросветно. Вот уже две недели как нет мамы. Нет и не будет уже никогда, и с этим нужно что-то делать и как-то жить, ходить, работать, дышать. За день до ухода, словно зная, что времени осталось совсем мало, она снова завела разговор о привидевшемся ей потусторонье, Тоня суеверно хотела отмахнуться, но не рискнула перечить, да и Соболевская бы не дала – они с матерью подружились, и теперь каждую свободную минуту та проводила в ее палате, раздражая своим непрошеным присутствием Тоню, не желающую допускать в личное, лелеемое годами живое пространство отношений матери и дочери кого-то постороннего.

– Зачем она постоянно ошивается у тебя?! – шипела она вслед медсестре, когда та покидала палату.

– Не ревнуй, пожалуйста, – просила мать.

– Не ревную, мне просто неуютно в ее присутствии!

– Она хорошая и умная, и с ней есть о чем поговорить, когда тебя нет рядом.

– Ты же знаешь, у меня Антон и Вадик...

– Что ты, дочка, я же не в укор. Не обижай меня оправданиями, – мать улыбнулась и легко коснулась ее щеки.

В тот оказавшийся последним день она снова вспоминала причудившийся ей рай: буйство невиданных цветов, звучание невообразимо прекрасной музыки, ангелов-великанов, что встречали ее у врат: «Мы ведь думаем, что они маленькие, а они ростом с холмы, и все очень разные, у одних до того страшные лица, что больно смотреть, – они поглощают мировую скорбь, а у других лица сияют, словно солнца, любишь и не можешь налюбоваться, – эти ангелы создают радость».

Мать рассказывала, что один такой ангел объяснил ей, как на самом деле устроена земная жизнь. Перед тем как родиться, человек выбирает себе судьбу. Он соглашается на своих детей, родных и близких, на людей, которых полюбит и которые его предадут. Он соглашается на испытания и преграды, с которыми ему придется столкнуться и через которые придется пройти. На болезни и горе. Он выбирает себе ровно столько, сколько сможет вынести, – и лишь после этого рождается. Потому нет в человеческой жизни ничего такого, с чем ему нет возможности справиться.

Мать старалась соответствовать открывшейся ей истине: не роптала и не жаловалась, а каждый прожитый день проводила с радостью и благодарностью. Тоня верила только в то, что видит, относилась к рассказу матери с иронией и справлялась с проблемами с холодной и даже яростной обстоятельностью, записывая любую победу в доказательство собственной неуязвимости. Однако в тот день, когда не стало мамы, вся ее уверенность, весь тщательно выстроенный каркас из убежденности в собственных силах рухнул в один миг – Тоня почувствовала такое опустошение, такую муку, словно предала самое родное, дорогое и близкое, что было в ее жизни.

После похорон она взяла на работе отпуск, дни проводила словно в полутьме – отмалчивалась, уставившись в одну точку, или лежала в постели, укрывшись с головой, и изводила себя плачем. Попытки мужа вывести ее из этого состояния твердо отменяла, попросила дать время выплакаться.

– Ты же меня знаешь, чем меньше буду сдерживать эмоции, тем скорее приду в себя.

Антон скрепя сердце уступил. Заботился о пятилетнем Вадике, с грехом пополам прибирался в квартире, готовил всякое несъедобное. Терпеливо ждал, когда у жены наступит просвет. Но просвета не наступало.

Звонок домофона просверлил в голове дыру – Тоня поморщилась, повернулась на другой бок, подтянула колени к подбородку, накрылась одеялом так, чтоб не слышать назойливого трезвона. Домофон захлебнулся, но через минуту проснулся дверной звонок. Тоня какое-то время прислушивалась к его надоедливой мелодии, потом поднялась, натянула халат, прошла, цепляясь за стену, в прихожую. Посмотрела в глазок. На лестничной площадке стояла тепло укутанная женщина и через короткие промежутки времени надавливала на кнопку звонка.

– Вам кого? – спросила с раздражением Тоня.

– Посылку из больницы передали, – ответила женщина противно колючим голосом и, чуть помедлив, добавила: – от мамы.

Тоня открыла дверь. Женщина надвинула на лоб вязаную шапку, нырнула носом в шарф и заговорила, мелко кашляя:

– Извините, что кутаюсь, – простыла, пришла к вам с температурой, но не прийти не могла. Я в отделении кардиологии санитаркой работаю, вы меня вряд ли вспомните, мы с вами не пересекались.

– Вы собирались передать посылку, – перебила ее Тоня.

– Я сказала – посылку? Извините, я имела в виду послание. Это, в общем, дико будет звучать, но что поделаешь, расскажу как есть. Мне ваша мама приснилась. Просила передать, что всё у нее хорошо. И что оказалась она в том месте, о котором вам часто рассказывала. И что ангелы именно такие, какими они ей когда-то привиделись. Ваша мама счастлива, потому что обрела покой: она окружена теми, кого всегда любила, она дышит полной грудью, потому что забыла, что такое боль. И еще она просила передать, что у вас впереди долгая и прекрасная жизнь. Долгая, прекрасная – и очень счастливая. А чтобы вы мне поверили, она просила сказать, что у мишутки золотые глазки. Я не поняла, что она имела в виду, но, может, вы...

Тоня прислонилась ноющим виском к прохладному дверному косяку. Про мишутку с золотыми глазками знали только мама с бабушкой и больше никто. Это был стишок, который

придумала совсем маленькая Тоня в день бабушкиного рождения, – у мишутки глазки золотые, а лапы мягкие, как пух. Она вывела его каракулями на обратной стороне единственной ненадписанной открытки, которую нашла в секретере, и торжественно вручила имениннице. Мама и бабушка потом очень смеялись, потому что открытка оказалась к 23 Февраля...

Женщина меж тем, кашлянув, поплотнее надвинула шапку и затянула концы вязаного шарфа на груди. Тоня спохватилась, посторонилась, приглашая ее в квартиру, но та отрицательно замотала головой – мне уже пора, и вызвала лифт.

– Может, хотя бы чаю... я вам так признательна... зачем вы больной поехали... я вызову и оплачу такси... – враз поверившая в происходящее Тоня бессвязно тараторила, не в силах справиться с волнением. Но женщина, не дождавшись лифта, пошла вниз.

– Я сейчас, я вас провожу, – заметалась по прихожей Тоня, залезая в сапоги и натягивая пальто.

– Не нужно, мне недалеко ехать, всего две остановки.

– Подождите! Ну что вы так уходите! – Тоня побежала по ступенькам, на ходу застегивая пальто.

Женщина остановилась, нехотя обернулась. Кусачая шапка лезла ей в глаза. Она поддела ее край, почесала лоб смутно знакомым жестом – фалангой большого пальца, на безымянном блеснула толстая дужка червонного кольца с тиснением. Тоня сама так часто поступала, обращившая кольцо камнем внутрь, чтобы легче было надеть перчатку. Она не стала бы обращать внимания на обернутое кольцо, но жест, которым женщина почесала лоб, ее насторожил. Пронзенная смутной догадкой, она запнулась-замешкалась, но потом схватила ее руку, обернула ладонью вверх, узнала рубин. Разом всё поняла.

– Мария Львовна?

Соболевская со вздохом стащила кусачую шапку, расслабила узел шарфа, потом и вовсе стащила его с шеи. Лишь сейчас Тоня заметила ее нелепый макияж – толстый слой тонального крема, неумело обведенные глаза, густо накрашенные ресницы. Старания не пропали даром – ее действительно невозможно было узнать.

Тоня молча ждала.

– Твоя мама переживала за тебя. И я, дура, обещала ей, – наконец выдавила Соболевская.

– Что обещали?

– Вот это и обещала. Я знала, что ничего путного не выйдет, но отказать ей не смогла.

И Соболевская виновато развела руками.

За секунду Тоня пережила, казалось, все возможные эмоции – от горькой обиды и отчаяния до гнева и разочарования. Но следом, внезапным прозрением, наступило высвобождение. Словно переболев чем-то тяжелым, она поднялась, чтобы заново обрести силы. Словно кто-то одним касанием руки развеял сковывающий сердце слой толстой, душной пыли.

Тоня прерывисто вздохнула и обняла Соболевскую, зарылась носом в ворот ее пальто, почувствовала запах цветочных духов и едва уловимый, до боли знакомый – больничный. Значит, она приехала к ней сразу после ночной смены, вымотанная и невыспавшаяся.

– Теть Маш, пойдем, что ли, чай пить? – бережно, чтоб не спугнуть плескавшийся в душе покой, спросила Тоня.

– Пойдем, – легко согласилась Соболевская.

На пороге квартиры Тоня обернулась:

– Мама ведь действительно вам приснилась?!

Соболевская молча погладила ее по руке.

Тоня спрашивать снова не стала. Ей так хотелось верить, что всё это правда, что она верила.

Марина Вишневецкая

Что есть счастье

О цели слов

Один поэт так любил закаты, что каждый называл неповторимым, подходящим только ему образом: эргебунц, вадаам, лёнг-длэнг, фиреенд, онь, горджубай – всего пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть наименований. И когда он умер, никто не смог разобраться, что он под этим имел в виду.

А один мальчик сумел выучить в школе только пять букв: «ё», «п», «р», «с» и «т». И когда вырос, гордился, что ему их по жизни вполне хватало, и когда подступали чувства, произносил эти буквы подряд, а когда накатывали события – группировал их по обстоятельствам: ёп, сёр, пст, прёт, спёр, трёп... И люди вокруг ценили его за внятность и острословие.

А один мужчина всех своих жен и подруг называл Лапик. И когда они на его поминках про это разговорились, то не все смогли к этому отнестись однозначно, и шесть из них возвратились на кладбище и стали безутешно кричать: Зая! Масик! Вован! Рыбик! Бяша! Котюн! Как же ты мог?! – и бились о свеженасыпанный холм. И тогда на голову каждой из них откуда-то сверху упало по еловому лапику. И несчастные женщины в испуге затихли, заплакали и обнялись.

Три вышеописанных случая приводят нас к мысли: слова используют человека как средство вторжения в мир, но их цель до сих пор никому не известна.

Мечта и мечта

Один сварщик мечтал сварить такую конструкцию, чтобы добраться по ней до самого неба.

А одна женщина мечтала сварить такой борщ, чтобы этот сварщик остался рядом с ней до самой смерти.

И из года в год они варили каждый свое, но достичь своей цели у них не получалось.

И вот когда во всей округе не осталось ни кусочка железного лома, ни даже подковы, ни даже болта, сварщик решил уйти из этого города.

А эта женщина нашла в одной древней книге рецепт приворотного зелья, и собрала по углам немного мышиного помета, и в огороде отыскала кожу змеи, и вынула из стены последний гвоздь, который этот сварщик еще не заметил и поэтому не унес с собой, и устроила ему прощальный ужин. И сварщик съел три полные тарелки борща и еще попросил четвертую, но съесть ее уже не смог, потому что на руках у этой женщины умер. Таким неожиданным образом и исполнилась мечта ее жизни.

А душа сварщика тем временем добралась до самого неба – причем посредством одного-единственного гвоздя. Добралась и впервые в жизни возликовала.

Вывод, который мы вправе сделать из этой истории, таков: мечтая о невозможном, мы обретаем непостижимое.

Новое поколение

Одна женщина не пошла на аборт, а решила родить, чтобы удержать возле себя мужа. И на недолгое время у нее это получилось.

Другая женщина решила родить, чтобы наполнить свою жизнь смыслом. И на некоторое время ей это удалось.

Третья женщина решила оставить ребенка, чтобы на старости лет не быть одинокой. Но ребенок, как только выучился, навсегда уехал жить за границу.

Четвертая женщина родила, чтобы было кому всю жизнь восхищаться ее красотой, добротой и умом. Но мальчик вырос и рассудил по-другому.

Пятая женщина родила ребенка с целью досадить своей незамужней подруге, но та и сама родила через год с целью показать, что она не хуже других.

Шестая женщина родила ребенка, чтобы прописаться с ним вместе на жилплощади свекра. Но родители мужа в этом ей отказали.

А седьмая женщина вообще сорок лет не хотела иметь детей и решила родить только после того, как во сне увидела ангела, пообещавшего, что ее ребенок будет вторым Леонардо да Винчи.

Случаев много, а вывод один: новое поколение, чтобы пробиться на свет, туманит мозг своих матерей всеми известными ему способами.

Что есть счастье

Одна моль всю жизнь прожила в кроличьем тулупе и для своих детей мечтала о норковой шубе, потому что каждое следующее поколение должно жить лучше предыдущего. И когда старый шкаф со всем его содержимым вдруг понесли на помойку, она кричала: историю не повернуть вспять! – и билась о дверцы. И на свалке за городом дверцу все-таки высадила, разлетелась, взвилась – и увидела на пригорке норковое раздолье – воротник, шапку и палантин. И закричала: дети, за мной! И хотя в следующий миг ее проглотил воробей, она уже знала, что жила и мучилась не напрасно. А ее дети от неожиданности спикировали в синие шерстяные рейтузы спортивного типа и прожили в них весь свой век – долго и счастливо.

А одна курица страстно хотела, чтобы ее дети научились летать. И регулярно сбегала с птичьего двора, чтобы снести свое яйцо в гнездо чибиса или козодоя. За срыв плана по яйценоскости этой курице грозила большая беда. Но сильнее страха была в ней мечта однажды увидеть своих огольцов высоко в небе, как они строятся вместе с другими птицами в клин и прощально ей кукарекают. И даже когда эту курицу потащили на плаху, она успела кудахтнуть, что ни о чем не жалеет и что ее дети будут жить среди баобабов и пальм. Какие дети? – удивились на птицеферме. А однажды в начале зимы на деревьях, растущих вдоль теплотрассы, группа биологов обнаружила гомонливое племя молодых диких кур, перекрикивающихся между собой голосами чибиса и козодоя. «Трудно представить большую идиллию», – записал в блокноте молодой биолог, имея в виду не только красоту куриного пения, но и обустроенность птичьей жизни на ветках и в дуплах. Участок вскоре огородили, назвали заказником, снабдили кормушками и утепленными домиками, а гомонливое племя занесли в Красную книгу.

Две эти истории красноречиво свидетельствуют: счастье – не проект, а здоровая реакция организма на новые обстоятельства.

Семь и семь

У одной женщины было двенадцать человек детей, и только один из них попал под машину. И она радовалась тому, что не будет одинокой на старости лет.

А у другой женщины не было детей совсем. И она радовалась, что от нее не родился ни Гитлер, ни Сталин, ни наркоман, ни какой-нибудь олигофрен.

У третьей женщины был только один ребенок, и она радовалась тому, что ей не надо делить свою любовь ни с кем другим.

А у четвертой женщины очень долго своих детей не было, и тогда она взяла трех детей из детдома. И была очень рада, что сделала их счастливыми.

А у пятой женщины один сын был и умер. И она была рада тому, что он больше не мучается на этом свете, а целыми днями слушает пение ангелов и серафимов.

А у шестой женщины было пять человек детей, и четверо из них погибли во время войны. И она была рада, что хоть один ребенок у нее остался.

А седьмая женщина всю жизнь была мужчиной, а потом собрала денег и сделала себе операцию и была рада тому, что мечта ее жизни сбылась.

Этих семи случаев достаточно, чтобы сделать вывод: женщина рождена не для счастья, а для одной только радости.

У одного мужчины было семеро сыновей, и он горевал, что у него нет ни одной дочки.

А у другого мужчины не было детей совсем. И он горевал, что после него не останется его семени.

А у третьего мужчины было одиннадцать дочерей. И он горевал, что после него не останется его фамилии.

У четвертого мужчины было три сына и девять дочерей. И он горевал, что ему нечем их прокормить.

А у пятого мужчины было двадцать детей от тринадцати женщин. И он горевал, что не знает даже их всех по именам.

У шестого мужчины было три дочери и пять сыновей, но они все боялись зайти к нему на живодерню. И он горевал, что ему некому завещать дело своей жизни.

А седьмой мужчина всю жизнь любил только других мужчин и горевал оттого, что они ему изменяли.

Этих семи случаев вполне достаточно, чтобы заключить: мужчина рожден для счастья, а счастья нет.

Голая правда

Один мужчина всем говорил в лицо одну голую правду. И за это его никто не любил, а многие даже притесняли. Так, например, директор школы при полном одобрении педагогического состава исключил его еще из начальных классов, а родители, едва он достиг шестнадцати лет, выгнали его из дома. В дальнейшем на какую бы никудашнюю работу он ни устраивался, его на второй, третий или максимум четвертый день увольняли. А когда он устроился подметальщиком аллей в зоопарке, то низшие животные тут же вымерли от полной утраты аппетита, а у высших, наоборот, проснулась страсть к людоедству, и они бросались на прутья своих клеток, только-только этот человек еще приближался к зоопарку.

И лишь одна женщина, хотя он прямо ей сказал при первой же встрече, что у нее кривые ноги, впалая грудь и на редкость невозбуждающая походка, его пожалела и пустила жить к себе в дом. И стала его кормить, поить и рожать от него детей. А он и детям своим, еще с колыбели, говорил прямо в лицо, как они страшно всем обликом походят на свою некрасивую мать, а глупостью на мать своей матери, а необузданностью страстей на его старшего брата, и еще прочие горькие вещи. И все его дети, как только, бывало, научатся ездить на трехколесном велосипеде, немедленно уезжали прочь и больше не возвращались. И только одна эта женщина всё продолжала и продолжала с ним жить, пока, наконец, не заболела чахоткой и не умерла. И возле ее открытой могилы и еще потом на поминках этот человек опять говорил одну горькую правду, как эта женщина его мучила всю его жизнь своим молчаливым упорством, своим пособничеством проступкам детей и некультурностью речи. И тогда ее брат, а потом еще и отец сказали, что эта женщина от самого своего рождения была глухонемая и поэтому речь у

нее носила главным образом скрытый характер, хотя книги она, например, читала и любила смотреть старые кинофильмы с субтитрами. И услышав такие для себя неожиданные слова, этот мужчина заплакал, потому что понял, что нашел в этой женщине свой ошибочный идеал, а она оказалась бессердечнее всех, кого он на этом свете встречал, и наиболее равнодушной к любому, даже самому наболевшему его слову. И он пошел на чердак и там удавился.

Вывод из этой истории можно сделать любой, но хоть какой-нибудь вывод сделать обязательно нужно. Например, что правда хорошо, а счастье лучше. Или что нет в жизни счастья. Или что человек – сам его кузнец.

Анна Матвеева Ида и вуэльта

Светлой памяти Лорны Д.

Дочь сказала:

– Дожили бы вместе, мам!

На ее месте мне тоже хотелось бы, чтобы мама и папа дожили свою жизнь вдвоем. Но каждая из нас – на своем месте, и с моего открывается исчерпывающий обзор неудачного брака, «двадцать лет коту под хвост». И все-таки на развод я тогда не решилась. Это так сложно – разводиться, разводить в разные стороны свою жизнь и жизнь человека, с которым вы провели вместе столько лет, пусть даже не слишком счастливых.

Вместо развода я тогда полетела в Испанию.

Дочь привезла меня в аэропорт на рассвете, обняла, помахала на прощанье – и поехала домой, *досыпать*. От ее куртки пахло табаком и духами, воротник пуховика с одной стороны был выпачкан тональным кремом. Я вспомнила запах детской присыпки, испачканные кремом от опрелостей пеленки и сладкий вкус люголя.

* * *

В Испании жил мой старый приятель – английский профессор, который в позапрошлом году вышел на пенсию и переехал, по доброй британской традиции, в теплые края. Профессора зовут Рэймонд Марк Стоун, для меня просто Рэй. Мы познакомились в начале девяностых, когда он еще не был профессором, а работал в таможенной службе Великобритании и приехал в только что переименованный Екатеринбург на семинар для узких специалистов. Еще была жива принцесса Диана. В моде, если верить иностранным журналам, царили крупные украшения, длинные пиджаки и короткие юбки. Узкие специалисты носили широкие штаны, парящие на ветру. Я рассекала в строгих костюмах, взятых напрокат у знакомой девочки, родители которой работали в Монголии – и без усталости наряжали свою Наташу, не подозревая о том, что наряжают еще и меня.

На семинаре для специалистов я была кем-то вроде секретаря по общим вопросам. Водила четырех иностранцев (два англичанина, бельгиец и датчанин) по ледяному Екатеринбургу. Показывала достопримечательности – Плотинку, деревянные купеческие дома, еще не снесенные в строительно-финансовом раже, и тот особняк с атлантами на улице 8 Марта, который с детства казался мне очень красивым. Гостей, впрочем, значительно сильнее интересовали памятник Ленину, тянущемуся рукой вверх, как бы в бессильной попытке ухватить журавля в небе; рыбаки, крутившие лунки на пруду; замерзшее собачье дерьмо в парках, а также здания, построенные в тридцатых годах (слово «конструктивизм» мы тогда еще не знали и не гордились роддомом с ленточными окнами, полукруглым фасадом типографии «Уральский рабочий» и выпуклой гостиницей «Исеть»). Всё это иностранцы без усталости фотографировали, включая уже упомянутое собачье дерьмо и жалкие, вечно текущие унитазы в конторе, где проходил семинар. Мои объяснения, не менее жалкие – да еще и хромые по причине среднего в ту пору английского, – внимательно слушал только Рэй. Лет ему было столько, сколько сейчас мне, – я искренне считала его стариком.

Наташа, безропотно выдавая вечером очередной костюм, спрашивала, что мне подарили, – все тогда ждали подарков от иностранцев, обычно это были колготки, сигареты и шоко-

лад. Колготки! Представляю лицо дочери, если бы я вдруг решила подарить ей колготки к какому-нибудь празднику. Но тогда это была настоящая роскошь.

– Помнишь, как ты дарил мне колготки? – спросила я Рэя, когда мы наконец встретились в Санта-Поле после долгих телефонных обсуждений, кто, куда и за кем заедет. Он улыбнулся и сказал, что да, кажется, припоминает. Им на инструктаже объясняли, что колготкам русские женщины радуются сильнее всего. Поэтому они закупали по пять пар самых дешевых – и везли колготки с собой в Екатеринбург, Пермь, Уфу или Пензу.

– Жуткие времена, – сказал Рэй и тут же умело перевел разговор. Как же он рад меня видеть! Он до последнего не верил, что я приеду. Он ведь помнит, что я не люблю Испанию.

Это правда. Женщина, радовавшаяся колготкам, теперь может позволить себе не любить какую-нибудь заморскую страну. Но что поделать, если отношения с Испанией у меня категорически не складываются. Мне не нравятся ни испанский язык, ни местная кухня, ни литература, ни музыка. Вот разве что живопись – Веласкес, Гойя, Эль Греко (он, впрочем, грек). Ну и еще кофе – здесь даже в самом захудалом баре варят чудесный кофе. Испания чувствует, что я ее не люблю, – и мстит за это самыми разнообразными способами. Когда бы я ни приехала, обязательно случится какая-нибудь пакость. То кошелек вытащат со всеми деньгами и картами. То в аварию попаду – да такую, что за руль потом целый год не решусь садиться. То заболею – в первый же день – и буду хворать всю поездку. То выяснится, что пока я тут отдыхаю, дома случилась беда – дочку в школе ударила одноклассница, сломала ей палец на правой руке. И теперь мама девочки звонит мне, рыдая, и обещает купить самую дорогую куклу в знак раскаяния. И мне теперь жаль уже не только своего искалеченного ребенка, но и эту несчастную тетку...

В общем, я и в этот раз ждала от Испании какого-нибудь подвоха или тщательно спланированной гадости, на которую не способны другие страны.

– Обожаю Испанию! – сказал Рэй. – Смотри, какая красота! Еще только январь, а здесь уже пахнет весной.

Мы ехали мимо соляных озер, где сутились десятки фламинго. Рэй забрал меня из дома, ключи от которого мне доверила совершенно незнакомая женщина – подруга моих друзей. Я никогда не видела этой женщины, но как только вошла в ее квартиру, то сразу же поняла, что мы с ней могли бы подружиться. Книжки на полках, посуда, мебель – всё это могла бы выбрать я, мои книжки, посуда и мебель были бы точно такими же.

Жаль, что в квартире было очень холодно. Испанцы не приезжают в Санта-Полу зимой, этот курортный городок в январе стоит почти пустым и напоминает декорацию. Дома не отапливаются, только если кондиционером, – но он дует совсем не туда, куда нужно, к тому же я опасалась, что хозяйке придется оплачивать чрезмерные счета за электричество. Утром я просыпалась от того, что у меня замерзал нос, и первое, что видела, было мое же собственное дыхание, облачком рвущееся изо рта, как пустой филактер, словесный пузырь из комиксов. Ложилась спать под целой кучей одеял и курток, но согреться всё равно не могла – только на второй неделе додумалась набирать в пластиковые бутылки горячую воду и укладывалась с ними, как с грелками. На улице было теплее – поэтому я вставала спозаранок и уходила к морю. Небо здесь менялось каждую минуту. На рассвете оно было окрашено в младенческие цвета, нежно-розовые и голубые, как ленты для новорожденных. На закате в небесах пылал огонь и тоненько улыбалась луна. По набережной я доходила до центра спящего городка, покупала в магазине миндальное молоко и пирог со шпинатом. Ночью, засыпая, представляла себя красной точкой, одиноко пульсирующей в сплошной темноте.

Рэй постарел за те годы, что мы не виделись, – теперь он был совершенно седой и с видимым усилием поднимался с места, когда приходилось долго сидеть.

– Ты не мерзнешь здесь? – спросила я, и тут же поняла, какую сморозила глупость. Англичане не мерзнут. Они стоически переносят любой дискомфорт, потому и смогли в свое время

завоевать полмира. Это самая неизбалованная нация на земле – во всяком случае, в поколении моего друга.

– У меня есть обогреватель, – сказал Рэй, деликатно не заметив моей глупости, – но я его редко включаю. Ну и потом, здесь целый год такая жара, что даже приятно бывает чуточку охладиться, не находишь?

Машины он водил совсем не по-стариковски – так резво обгонял грузовики, что я вдавливалась в свое сиденье, дрожала от страха и впечатывала ногой в пол несуществующую педаль тормоза. Как любой водитель, я не люблю быть пассажиром, стараюсь в таком случае занять заднее сиденье, но сейчас это было невозможно и невежливо.

Англичане – очень вежливые.

* * *

Мы никогда не говорили с Рэем о наших семьях – моей реальной и его предполагаемой. Так повелось с самого начала. Я догадывалась, что предпочтения моего друга далеки от традиционных, – по некоторым нюансам, обмолвкам, взглядам. Но никогда, никогда мы об этом не говорили! И обо мне он знал только самые общие вещи – что есть муж, взрослая дочь и какие-то неразрешимые проблемы, о которых я говорить не хочу.

Коты – другое дело! Котов мы обсуждали страстно и с удовольствием.

После того как дочь сняла себе квартиру и мы остались с мужем вдвоем, именно кот поставил себе задачу сохранить нашу семью, а точнее, то, что от нее осталось. Он ничего не знал про «двадцать лет коту под хвост». Мы прятались друг от друга в разных комнатах, но кот упрямо ходил из одной в другую – истошно орал, выгибал спину, мурлыкал и повторял всё перечисленное снова и снова, пока мы не поняли наконец, что должны находиться в одной комнате. Что ему, коту, так удобнее.

Поначалу я устроила себе спальню в бывшей дочкиной комнате, и кот стал метить там территорию – раньше он позволял себе такое только в кладовке, где несколько лет назад им же была обнаружена и казнена залетная мышь. Как только я вернулась на семейное ложе, гадости в дочкиной комнате тут же прекратились – кот показательно скребся в своих лоточках и провожал меня внимательным взглядом слегка прищуренных глаз.

У Рэя было три кошки – две переехали с ним вместе из Оксфорда и довольно быстро опростились, научившись охоте и ночным гуляньям. Третью попросила взять Ида, подруга Рэя, – она переехала сюда тридцать лет назад, и сегодня мне предстояло с ней познакомиться. С Идой, не с кошкой.

Мы уезжали всё дальше от моря, поднимались вверх выше и выше. За окном я видела сухую желтую землю, какие-то глиняные горы и вишневые деревца, кое-где уже подернутые цветочной дымкой. Зимняя весна!

Когда свернули на проселок, я решила, что Рэй хочет показать мне какой-то местный монастырь, – впереди теснились кипарисы, скрывавшие за собой обширное поместье. Площадке для парковки позавидовал бы торговый центр. Навстречу выбежали два кота и крошечная белая собачка в черной «полумаске». Коты, не скрывая своего разочарования, тут же исчезли, а причудливо раскрашенная природой собачка начала выписывать вокруг машины кренделя, так что Рэй прикрикнул на нее из окна:

– Пинки! А ну прекрати!

Пинки (по-нашему Розочка), приветливо твякая, бежала к дому, то и дело оглядываясь, проверяя, идем ли мы следом.

Дом Иды был даже не дом, а, наверное, небольшой замок – или маленький дворец. Мы прошли по террасе с живописно облупившейся штукатуркой. Стены прихожей были выкра-

шены в ярко-синий цвет. Я крутила головой по сторонам не хуже Розочки, разглядывая картины, викторианские вышивки, фарфор и бронзу в честных старых шкафчиках.

– Ида! – крикнул Рэй. – Мы здесь!

Но вместо Иды к нам вышла Мария – улыбочивая испанка, домработница. Она кивнула мне, расцеловалась с Рэем, потом взяла у него пакет и унесла в кладовую.

– Я привожу им продукты, когда еду мимо, – объяснил профессор. – Вблизи нет супермаркетов.

В разные стороны, как салют, брызнули кошки – едва не запнувшись об одного из своих питомцев, но гордо устояв на собственных ногах, появилась хозяйка дома.

* * *

Отцом Иды был мэр Бристоля; мать, которую она терпеть не могла, была истинной леди. Имелись три младшие сестры – но все, как сказала Ида, давно в могиле.

– Потому что не выпивали, – заметила она, прихватывая со стола свой «походный» стакан с хересом. Поход – или «гранд-тур», как выразилась хозяйка, – по ее дому, купленному четверть века назад у зажиточных испанских помещиков, требовал подкрепления: гости вполне могли проголодаться во время долгой экскурсии, у них пересыхало в горле, кто-то мог упасть на один из диванов, расставленных в стратегически верных местах, и забыться коротким освежающим сном.

Ида шла впереди, в стакане ее сверкал херес, под ногами крутилась Розочка.

– Почему такое имя? – спросила я. – Что в ней розового?

– Ободок вокруг глаз, – объяснила Ида.

Котов звали одинаково – Флаффи (Пушок по-нашему). Коты здесь были на вторых ролях, заправляла хозяйством Розочка: суежилась в каждой новой комнате, приглашая радоваться прекрасному вкусу Иды. Всё здесь было перестроено и переделано – бывшая конюшня для осликов стала желтой гостиной, большой холл превратился в мастерскую, потому что здесь самый лучший свет.

– Я уехала из дома в семнадцать лет. Хотела стать художником. Мать этого не понимала, ей надо было представить меня ко двору – вот это было важно. И я сбежала, уехала, и мы увиделись с ней только через десять лет, совсем другими людьми. А ко двору была представлена Маргарита, моя младшая сестра.

Фотопортрет на стене – спелая барышня в белом платье, губки – тугой бутон. Снимок черно-белый, но чувствуется, что на щеках румянец.

Ида дружески шелкает барышню по носу:

– Маргарита умерла семь лет назад.

Стакан с хересом выскользнул из рук, но Ида поймала его в воздухе. Рассыпала – как крошки перед птицами – пригоршню сухих смешков.

Я долго не могла рассмотреть Иду, потому что она была в постоянном движении и так ловко избегала прямого света, как умеют делать только актрисы и кокетки с полувековым стажем. Когда мы сели за стол, покрытый пожелтевшей, но явно ценной скатертью, Ида закуталась в тень, как в покрывало, – я видела лишь рукав синей кофточки и сверкающий камень на пальце. От Иды хорошо пахло – как от младенца: свежестью, теплом, молоком. Никакой старческой затхлости, изношенной кожи, умирающей плоти. В свои девяносто пять Ида лишь начинала жить.

* * *

Мы выпили по бокалу – херес цельным сгустком проскользнул в желудок, внутри, как пятно бензина в луже, разлился масляный покой. Я сидела, подперев голову рукой, и наслаждалась мыслью о том, что никто не может найти меня в этой комнате, в компании людей, которых не знают ни моя дочь, ни муж, ни родители, ни друзья. Это было такое приятное, сильное, утешительное чувство, что я чуть не прослезилась от благодарности.

– Эй, – сказал Рэй, – у тебя тоже розовый ободок вокруг глаз. Как у Пинки.

Собачка, услышав свое имя, завозила на диване. Прямо над диваном висела картина Иды – пляж, мужские спины, шеи, плечи. И ни одной женщины.

– Она не слишком любит женщин, но ты ей, кажется, понравилась, – шепнул Рэй.

Ида пишет картины маслом, режет витражи, вдохновляет павших духом друзей. Она никогда не была замужем, у нее нет детей.

Хлопает в ладоши:

– Теперь гранд-тур! Я уже показывала вам дом?

Рэй разводит руками, нет, ну а что ты хотела? Посмотрю на тебя в девяносто пять. Или нет, не посмотрю. Сама всё увидишь. И тут же забудешь!

Мы встаем из-за стола и под предводительством Розочки вновь выходим на прежний маршрут. Ида щелкает по носу трезвенницу Маргариту, вспоминает, как мать хотела представить ее ко двору, роняет сухарики смешков, заворачивается в тень, как в покрывало. Тень сползает с плеч, день, как рассказ, движется к финалу. Розочка в отчаянии – хозяйка и гости уезжают обедать в ресторан! Коты индифферентно провожают нас до машины, и тут я вижу, что Ида садится за руль.

– О нет! – я дергаю Рэя за руку.

– О да! – смеется он. – Тут совсем недалеко, пусть развлечется. Пристегнись.

Ида ведет машину аккуратно, не то что Рэй. Она как будто продолжает резать витраж – тщательно отмеряет угол поворота, просчитывает силу давления, едет по дороге как по стеклу.

Ресторан в деревне, куда мы приехали через десять минут (Ида не без шика припарковалась в тени грузовика), принадлежит двум братьям. Я бы сказала, это не ресторан, а столовая (девушка с колготками из девяностых смотрит на меня с уважением) – пластиковые скатерти, бумажные салфетки, вопящий телевизор. Из неожиданного – англичане за каждым столом. Здесь еще в шестидесятых сформировалась целая британская колония, и многие, как утверждает Рэй, так и не удосужились за всё это время выучить испанский язык. Лично он, к примеру, берет уроки в Аликанте у некоего Эзры – и уже очень продвинулся. «Льего ля ора де ля комида» – «Настал час обеда».

– А я не продвинулась! – заявляет Ида, обворожительно улыбаясь одному из братьев-владельцев. Он как раз идет к нам: раскланивается со мной, жмет руку профессору и бережно обнимает Иду. Целует розовую щеку, гладит по голове, как ребенка, – и с наслаждением вдыхает младенческий аромат ее волос. Ида, в чем твой секрет? Обычные старики плохо пахнут: часто находиться рядом с ними – просто испытание. Я уверена, что в старости буду невероятно гадкой старухой – что дочь будет вынуждена сдать меня в дом для престарелых, где я быстро угасну по причине несоответствия качества услуг заявленным ценам. Я не против! Но прежде хочу узнать Идин секрет.

За всеми столиками англичане едят пазью. Желтый рис плоским слоем размазан по черным сковородам. Попадают островки мяса – у кого-то кролик, у кого-то курица, у нас улитки. Ида ест с аппетитом, пьет розовое вино, потом виски, потом коньяк. У нее идет носом кровь, и тут же прибегает официант с салфетками.

– У тебя есть братья или сестры? – спрашивает меня Ида.

Мой единственный брат умер десять лет назад, и я об этом никогда не рассказываю. Пока не рассказываешь, веришь, что он всё ещё жив. Все эти годы я вижу его в чужих машинах, в кино, в ресторанах: он жив, но не может ко мне подойти, вот и всё.

Только Иде я рассказываю правду. Рэй вытягивается в струну: мы с ним никогда не обсуждаем наши семьи.

На десерт принесли флан. Остатки паэлья официант сложил в пакет – для Розочки и котов. Прежде чем подняться из-за стола, Ида спрашивает:

– У тебя есть братья или сестры?

* * *

Мне тяжело дается выбор – над меню в ресторанах я сижу дольше всех: официанты засыпают, повара уходят домой, счет оплачен, а я так ничего и не съела. Растерянная женщина с охапкой одежды в руках на входе в примерочную, и она же, с пустыми руками, на выходе – это я. Муж однажды в шутку спросил, какую картину я забрала бы с выставки Рембрандта, если бы имелась такая возможность, – этот вопрос вверг меня в панику. Я долго ходила среди портретов, и они смотрели на меня с сожалением, потому что я так ничего и не выбрала. Даже в шутку.

А тут – развод. Или-или, как погоны на плечах.

Ночами я подолгу не могу заснуть из-за холода – и потому, что надо выбирать.

Много лет назад мы с мужем были на отдыхе и жили в гостинице, где от лифта до номера нужно было идти так долго, что хотелось взять с собой еду и книги. Коридор был бесконечным, казалось, что в конце его – зеркало, и люди, идущие навстречу, – это наши отражения. Мы шли, напряженно всматриваясь в отражения, которые были всего лишь другими людьми, – и в какой-то момент начинали верить, что поменяемся с ними местами, лишь только встретимся. Бытовой Кортасар. Борхес для бедных. Другая пара, мужчина и женщина, возможно, думали о том же самом – поэтому так быстро шагали мимо, опасаясь посмотреть нам в глаза. А я оборачивалась и долго потом думала о той, чужой жизни, промелькнувшей мимо меня в секунду, как пейзаж за окном разогнавшегося поезда.

В Санта-Поле идет дождь. Рэй пригласил меня в путешествие на остров Табарку, где живет всего сто тридцать человек. Плыли на лодке – барке. Рифмовали: «барка-табарка». Профессор выглядел счастливым. Мы собирали странные зеленоватые камни, считали улиток, любовались морскими волнами – пышно взбитыми, как оборки на платье.

По Аликанте я гуляла одна. Здесь любят красить дома в яркие цвета, но эта яркость слегка припудренная, приглушенная. Полынные и бледно-розовые тона, блестящие плиты мостовых, надраенных трудолюбивым дождем... Повсюду пальмы, под которыми расточительно валяются горы фиников.

Ночью дул такой сильный ветер, что я боялась – вдруг вылетят стекла.

А утром на море был полный штиль. Я долго шла по берегу – набрела на казематы гражданской войны, похожие на головы штурмовиков из «Звездных войн», видела скелет лодки и табурет, вынесенный морем на берег.

Апельсиновые деревца на набережной покрыты лакированными листьями.

Море сияет как шелк.

Я купила билет на поезд в Бенидорм, потому что мне понравилось название. На билете стоит отметка – «ида и вуэльта». По-испански – «туда и обратно».

* * *

Дочь звонит каждый вечер, но говорить нам не о чем – жизнь молодого человека важнее, объемнее, ярче существования того, кто «доживает». Но она всё равно звонит, сообщает, что сегодня была у папы. Рассказывает, что он ел. Говорит, что кот в первую неделю очень скучал – сидел в прихожей, сверлил дверь взглядом, но я так и не появилась, и он принял решение жить дальше.

Мы обе прощаемся с облегчением.

В Бенидорм ходит трамвай-метро – он заезжает в туннели, проносится по берегу моря, летит по мостам, взбирается в горы. Бенидорм красив не только названием – на пляжах, как деревья, растут небоскребы, по стволам пальм бегают белки, а из фонтанов пьют воду белые голуби.

Я рассказывала о белых голубях в Мурсии, за обедом с Идой и Рэем.

– Какой симпатичный официант, ты заметила? – спросила Ида, подзывая кивком головы ничем, кроме своей молодости, не примечательного юношу, подававшего нам блюда: салат из свежих листьев шпината, дораду с картофелем и тыквенный суп.

Через секунду мы фотографировались втроем с официантом, Рэй держал камеру, в руке Иды слегка дрожал бокал с розовым вином.

В Мурсию ехали в машине Рэя. Ида, пристегнутая ремнем на заднем сиденье, дремала всю дорогу. Оставили машину на берегу реки Сегуры и пошли пешком к собору. Рэй хотел показать мне собор Санта-Мария, а Ида настаивала, что я должна увидеть бывший мужской клуб-казино, где «псевдомавританский стиль щедро разбавлен модерном». Клуб отделан керамическими плитками изумительной красоты, но с ними соседствуют пластиковые стулья, и когда Ида увидела эти стулья («Раньше их не было, клянусь!»), то заплакала. Но уже через минуту забыла о поруганной красоте и, улыбаясь, спросила, хочу ли я увидеть собор Санта-Мария.

После обеда Рэй оставил нас в кафе на площади, вблизи Епископского дворца. Ему нужно встретиться с кем-то по делу – но через час он вернется. «Не заказывай ей слишком много виски, – шепнул Рэй мне на ухо. – Сегодня она пьет как рыба».

Здесь рано темнеет. Ида попросила не виски, а чашку чая с молоком. Мы пили чай, любуясь подсветкой дворца.

– В чем твой секрет, Ида? – спросила я. – Где ты берешь силы быть счастливой? Мне их не хватает даже для того, чтобы просто жить каждый день.

– Никаких секретов, – говорит она. – Я просто выпиваю понемногу, а еще очень люблю мужчин и свою работу.

Уже совсем стемнело. Чай остыл. Официант принес счет. Я никогда не понимала людей, которые ищут ответы у гадалок, психологов и старцев, – и вот сама зачем-то пытаю полузнакомую старушку с ясным взглядом, жду, чтобы она отсыпала мне своего счастья, которого у нее полные карманы. Ну или чтобы написала точный рецепт – сколько нужно взвесить, с чем перемешать, по сколько ложек принимать.

– Поверь в то, что нет никакого счастья, – говорит Ида. – И сама не заметишь, как тут же станешь счастливой.

Рэй пришел точно в указанное время. Англичане очень пунктуальные. Когда мы сели в машину, Ида дернула меня за рукав:

– Всё забываю спросить, у тебя есть братья или сестры?

* * *

Последний испанский день был бесконечным. На берегу моря я видела огромных черных гагар, сушивших крылья, как белье. Цветет гибискус, цикламены, «корона кайзера». Редко попадают розы. В городе Эльче, в Саду священника, стоит императорская пальма, которой никак не дают умереть: дереву полторы сотни лет, и оно со всех сторон укреплено подпорками. Счастлива ли эта пальма?

Обедали с Идой и Рэем в очередном простецком кафе, где местные жители играют в карты, читают газеты и разговаривают все одновременно и очень громко. К нашему столику подошел какой-то деятель – он представил нам свою жену, и мои англичане бурно обсуждали потом, что никакая она ему не жена! Ели суп «пелота» с гигантской фрикаделькой, жареную рыбу и крема-каталана. Запивали крепким кофе кортадо, вином и коньяком.

На закате море стало густо-фиолетовым, как старые чернила. Я сорвала апельсин с дерева, он оказался горьким.

Ночью я впервые не замерзла и чуть не проспала – Рэй заехал за мной, когда рассвело, и по дороге в аэропорт я рассказала ему свой сон: там я научилась прыгать до потолка, отталиваясь ногой от пола.

– Хороший сон, – сказал Рэй. – Всё наладится, вот увидишь. В конце концов всегда всё устраивается.

С трассы он свернул к маяку – там была смотровая площадка с видом на Табарку и пляж Альтет, где Ида тридцать лет подряд рисовала с натуры купальщиков. Два молодых велосипедиста позировали третьему, подняв над головой велосипеда. Рэй смотрел на них с интересом и одобрением.

– Ида передает тебе привет, – сказал Рэй на прощание. – Просила узнать, есть ли у тебя братья или сестры... Да шучу я, шучу!

В аэропорту мы крепко обнялись. Профессор поспешил к машине, оставленной на временной (очень дорогой!) стоянке, а я, зарегистрировавшись, пошла было к выходу на посадку, как вдруг захотела еще раз вблизи посмотреть на Испанию. Глиняные горы заливало яркое зимнее солнце. Где-то сутилась Розочка, коты с достоинством выпрашивали завтрак, Ида сидела над очередным витражом с бокалом утреннего хереса. Рэй лихо гнал по трассе в город – чтобы не опоздать на урок с Эзрой.

Дома меня ждали муж, дочь, кот и открытый, как рана, вопрос о разводе.

А мимо текли попутчики – одни спешили, другие явно тянули время. Кто-то курил в специально отведенном месте, кто-то прощался с кем-то навсегда. Или думал, что навсегда.

Некоторым людям суждено пройти с нами лишь малый участок пути, но именно их мы будем вспоминать впоследствии с благодарностью.

Я не могла знать, что Ида умрет через несколько дней после моего развода, на который я все-таки решусь спустя год. Не знала, что Рэй решит вернуться в Англию. Не догадывалась, что у меня совсем скоро появится внук и я снова вспомню запах детской присыпки и крема от опрелостей.

Тогда я просто стояла у входа в аэропорт города Аликанте и смотрела на синее, в цвет Идиных стен, небо.

А потом повернулась на каблуках, как персонаж старой книги (они почему-то всегда поворачиваются *на каблуках*), – и пошла искать свой выход.

Ксения Букша Я – Максим⁴

1.

Говорят, что люди растут до восемнадцати лет, а я только в девятнадцать начал.
Семья у меня так себе.
Папаша отсидел, потом мать бросил. Алкоголик. Потом помер.

но дело не в этом
многие так живут и семьи у них еще хуже
и ничего – ок норм

а я вот реально – сколько себя помню – я постоянно был
какой-то вечно злобный, озлобленный, в дурном настроении
идешь в школу, голуби – хочется их ПНУТЬ
мать раздражает, все раздражает
мы в однушке жили
так стенки все были в дырах
я потому что их пинал
меня все бесило
идешь мрачный... не идешь – ноги волочишь

и я так жил до девятнадцати лет, я просто не знал, как так по другому-то
наверное, я бы спился
если бы не случай

2.

в армию меня по здоровью не взяли, зрение минус семь было
работал там сям, траву почти каждый день курил
однажды я иду, и у нас на Туристской улице есть переход
через железнодорожные пути.
Очень говорят опасный переход, много человек там гибнет.
Каким-то летом даже трое подряд с разницей в несколько дней.

И вот иду с работы
с овощебазы
темнота, не вижу ни хрена
а еще и в наушниках был
и электричку проворонил.
Там долго так идешь, идешь по тропинке вдоль железнодорожных путей
а потом поворачиваешь и как-то так получается
что прямо навстречу электричке ты идешь.

⁴ Текст К. Букши дается в авторской редакции и орфографии.

Электрички на Сестрорецк, Зеленогорск там идут.

И я как раз проворонил электричку – и чуть не попал под нее!
Как подорвался! еле проскочил!
Вот реально – еле-еле!
Она гудит, тормоза скрежещут... я в кусты! Бежать
И вот тут меня как раз торкнуло.
Меня так не торкало ни с каких там веществ
ни с алкоголя, ни с чего
в голове шумит, темнота вся такая...
как будто цветная
сразу запахи слышишь, все вокруг как...
как какая-то карусель.

И я такой прибалдевший
с лобой такой
иду-у-у-у себе домой

и мне реально ТАК кайфово стало

И утром я встал и пошел на работу, и тоже
спокойно, вокруг все такое...
волшебное
я просто как будто сбросил все это вот
что на меня давило
стою в автобусе, не бесит ничего
как будто люди какие-то другие
стали вокруг
улыбаться хочется

3.

И в тот же день я пошел и написал заявление.
Вдруг я понял, что меня бесит мое имя – Игорь.
А меня тогда звали Игорёк. ОМГ... Игорёк.
Даже вспоминать неприятно.
Ну и всё, и очень быстро Игорек остался в прошлом, а я стал Максим.
Я – Максим!

Когда вышел с новым паспортом...
Это было такое чувство!

Я – Максим!

И пошло.

Как только я Максимом стал, сразу подвернулась работа
на нашей улице открывался магазин крафтового пива
а я вообще люблю пиво

хотя к алкоголю отношение у меня специфическое
я больше курил травку
но когда Игорька послал, то и травку уже курить стал реже
я устроился в этот магазин
и стал нормально получать

и я снял комнату
пусть это дорого было для меня
я решил снять и подумать просто в одиночестве хоть пару месяцев
без этой бубнежки
без телевизора

вот как-то так все пошло
Так все поменялось

4.

Прошло несколько недель, месяц, может, или побольше.
И я понял, что все возвращается как было.
Я это понял, потому что познакомился с девушкой хорошей.
А мы в лифте едем – она что-то говорит мне, а я вдруг чувствую...
Чувствую опять. Что хочется ПНУТЬ.

Жесть.
Взял сигареты вышел на балкон
пятнадцатого этажа
И тут я в первый раз можно сказать задумался
почему так, сколько во мне злобы-то откуда
почему все такое вокруг мрачное и тупое
и все такие дебилы
и все меня бесит и я сам себя

И я пришел к выводу, что надо просто мне продолжать делать это.

Девушке сказал, что надо по делам выйти, посмотрел расписание электричек...
Дальше понятно. Дождался электрички, рассчитал там секунды...
И рванул.
Прямо перед самым носом, в последний момент.
Ух! Там такое началось! Агонь! По-моему, он меня побежал догонять просто...
Может, это тот же самый был машинист, не знаю.
Но это неважно.
В тот момент я понял, что вот.
Что это именно – что мне надо.
Это как бы такая перезарядка батареек, и мне нужен вот такой способ.

5.

Ну, и вот я стал так жить. Так делать.

Конечно, мне стало понятно, что с электричками лучше так не шутить, а надо что-то еще придумать.

И я стал придумывать.

Записался на парашютах прыгать.

Потом еще есть паркур, бэйс-джампинг.

Я многое перепробовал за эти три года.

Видимо, ну вот просто есть породы людей, как породы собак – которым надо экстрим, адреналин, а иначе они закисают становятся такие вот мрачные, как был Игорек.

И с тех пор все стало очень хорошо. И как-то я думал, что я все уже знаю. Про эту жизнь, и вообще.

Девушка у меня там другая потом появилась.

А с той мы не то что поссорились.

Просто расстались.

Нормально мы расстались с ней.

А Вера появилась у меня, и вот теперь мы с Верой.

И мы с ней, я надеюсь, будем всегда.

А с ней связана такая история...

Что мне про нее все говорили и даже в личку писали...

«Да ты знаешь, что она debilка? Она ходила в школу для умственно отсталых».

Ё-маё, ну и что? НУ И ЧТО??

Смешные какие-то люди.

Вот я не понимаю. Если у человека нет такого интеллекта, как у тебя. Это значит, что он какой-то неполноценный, по-твоему?

Да я даже обсуждать это не стал. Просто забанил их, и все.

Как это вообще – так рассуждать.

Нам отлично с Верой! Я не замечаю ничего того, что о ней другие говорят.

Я не могу сказать, что Вера может брать интегралы. Но она на самом деле УМНЕЕ этих debilов, которые про нее говорят гадости.

Это человек, на которого я реально могу положиться в этой жизни.

6.

Куртка вот на мне. Finn Flare.

Вот про эту куртку хочу сказать – неправда, что счастье нельзя купить.

То есть его, конечно, нельзя.

Но чуть-чуть можно.

Вот куртка – это большая часть моего счастья.

Я ее ношу четвертый год. И до сих пор из нее нитки не полезли.

Хотя говорят, Вьетнам шьет для финнов. Да наплевать кто там шьет.

Я в ней чувствую себя... Человеком. Максимом.

Я до этого все время зимой замерзал. Ходил в чем попало. В кедах каких-то, ветровках идиотских.

А теперь я зимой гуляю. И я чувствую себя – как человек.

Я пошел нормально в торговый центр. В дисконт Finn Flare.
Там висела... эта куртка. На нее была скидка 80 %.

Так она стоила... не знаю, больше двадцатки.

А так... Так она стоила меньше пяти.

И я купил себе. Вот взял и купил себе!

Когда я ее купил себе

в тот день, точнее в ту ночь

я стал листать фильмы и мне попался фильм Конформист

старинный по-моему черно-белый еще

известный это фильм, все смотрели

еще в советском союзе

ну там про эту вот гейскую тему еще немножко

мне она не близка но неважно

главный герой

вот главный герой меня цепануло

он очень был похож на меня

в движениях как бы

походка, лицо

и это его как он говорит все время

«я хочу быть нормальным»

а он же фашист, даже он предал и убил своего учителя

в общем он полный мудака, если по фильму

но меня он очень сильно цепанул

он – это я

7.

я купил себе белый маркер

и стал ходить по району

и писать разные всякие слова

потом я стал видеть эти слова

которые я написал на стенах

и мне становилось теплее

я вспоминал разные вещи

когда курил на балконе

или когда спал с Верой

и я... ну, я плакал

какая разница – подумаешь – плакал и плакал

8.

я думал, что я все про эту жизнь

знал

а я еще не все про эту жизнь

знал

и я хочу рассказать до конца этой истории
точнее, еще далеко до конца этой
истории

а вот что случилось со мной
зимой счас октябрь
я до сих пор не понимаю, что случилось со мной зимой счас
октябрь

в общем погода была такая был мороз снег
ничего не поделаешь не попрыгаешь никуда ничего никак
и я пошел короче к электричке своей опять

хотя я знаю что это опасно
будешь там валяться с раскочевряженной башкой
а у меня еще температура была высокая перед этим ну за день
но мне было надо
я чуть Веру не ударил уже
достиг предела уже какого то
и надо было вмазаться как я про себя говорю

и вот я пришел когда по расписанию
темно дико холодно и снегу столько что рельсов не видно
и звездочки на небе блестят кошмарно
и я почему-то подумал – ну вот, прощайся с жизнью паровоз Максим
(почему-то я подумал ПАРОВОЗ Максим – из мультика что ли
в садике показывали вроде)

и такой я стою жду электричку как будет что будет не знаю
вот уже должна идти а все не идет не идет

и тут

пилит через пути какой-то дедок древний, в кроссах, ваще не по погоде одетый
ковыляет такой с палкой, в наушниках, с БОЛЬШИМ рюкзаком за плечами
такой пилит себе
что он тут делает? – думаю. – в пол-первого ночи?!

И тут электричка из-за поворота
мягко выезжает
плавно как кошка
кугук, кугук
и быстро

а дед чешет
а дед чешет себе ТУДА и не слышит ничё не видит

и я стоял далеко
и я такой КАК ЛОМАНУЛСЯ
тыдыщ!! – грохот звон я ничего не понимаю что происходит
мы лежим дедок стонет подо мной вяло шевелит щупальцами я вызываю скорую
ничего не понимаю
холод

мы короче... нас не достало
электричка проехала
и все, и больше с тех пор я

я собираю подписи петиции в интернете
чтобы сделали по-другому с этим переходом
более безопасно
чтобы другие ребята
не могли так перебегать

Мне это уже не нужно
Мне хочется велик себе купить нормальный
Я хочу трюковый велик

Я хочу ребенка, трех мальчиков
Хочу еще нормальный телефон фоткать
хочу получить образование
я все хочу

я не знаю, кто этот дед может он тоже
а я знаю кто я
я – Максим

Максим

Катя Капович

Бабочка огонь перелетела

«Чуден вечер природы...»

Чуден вечер природы
сразу после дождя,
водомерка гнет воду
золотого пруда.

Так вечернее солнце
напрягло горизонт,
что вот-вот и вернется
дальний берег, твой сон.

И стоишь, как на грани,
своего ничего,
всё – одно лишь сиянье,
отражение всё.

Памяти Николая Гумилева

Когда за две недели до расстрела
он в чайнике заваривал заварку,
вдруг бабочка огонь перелетела,
две белые, высокие махалки.

Она порхала там неосторожно
и в воздухе мелькала под плафоном,
она всю кружила по окружной
в предутреннем пространстве искривленном.

Потом он присела и застыла,
два крылышка сложила и устала,
и тихою была, как гроб-могила,
но в этом мире надпись написала.

В холодном синем воздухе коморки,
прекрасная, как мебиуса лента,
что солнце поднимается с Востока,
что счастье абсолютно, перманентно.

Покупка

Да будет счастье, счастье без причин,
простое счастье в клетку и в полосу,
покупка телевизора «Рубин»,
законное жилье на Димитровской.

Я помню, как везли его домой
и как таксисту оставляли трешку,
по лестнице несли под «боже мой»,
и втаскивали в дверь под «осторожно».
Сначала он зеленую тоску,
потом тоску сиреневую выдал,
упрямый ящик с дырками в боку,
он так все лица безнадежно выгнул.

Но кто-то там из общего двора
пришел, принес, сам приложил усилья,
из проволоки под общее «ура»
антенну привинтили, прикрутили.

И в нашей жизни в двести двадцать вольт,
пусть что угодно утверждают снобы,
но было, счастье, счастье первый сорт,
бессмысленное счастье высшей пробы.

Евгения Некрасова Лакшми

Руки своей жены Овражин попросил три года назад. Она отдала. Солнце вращало проекторами, жир с шампуров лакировал траву, шипели стаканы из пластика. Лера – длинноногая, тонкокостная веселая синица. Овражин – влюбленная молодая мышца, прямой и весенний. Лере он нравился не до женитьбы, но дома пил отчим, гнила мать, нужно было бежать. Случился нормальный штампованный брак. Сначала обезболивание счастьем, потом настоящая жизнь. Через запятую родились погодки-сыновья. Руку на свою жену Овражин принялся поднимать два месяца назад. Не то чтобы обозлился, просто так он решил спасти свой город.

Тот торчал посреди среднерусской равнины. Спотыкался о годы. Не поспевал за миром, не менялся, а взлохмачивался. В нем самом – ноль чего-то, кроме домов и людей. Горожане потекли работать в соседний пункт с начинкой. Овражин возил их туда на автобусе. Люди отпахивали свое и возвращались к Овражину в железные двери, набивались усталыми судьбами. Чаше на автовокзале ждали мятые, отработавшие женщины, ждали Овражина страстно – резали пространство наспех подведенными глазами – как не ждали ни одного мужчину – они спешили домой – готовить ужин и растить детей. Его ждали и сами мужчины – как ждут товарища, который вывезет их, сильнораненых, с поля боя, – и они стремились домой – сами не понимая зачем. Когда автобус Овражина показывался на дороге, у всех ждущих радость оккупировала сердце. С утра его тоже ждали, но сонно, спокойно, удивляясь вспоминаящимся снам.

Лера – на восемь лет младше мужа, сама еще не выросла. Она не понимала и не знала, чего хочет. Ее не спрашивали. Пять лет назад она прекратила играть в куклы. Собственные дети казались ей ожившими игрушками. Первая – лысый младенец, который мог лежать, сидеть, мычать «мама», по-настоящему портить пеленки и по-настоящему есть. Вторая – бегущий автоматический щелкунчик, громкий и вездесущий. Детей нельзя было приостановить, выключить, сложить в шкаф, заняться делами, отдохнуть, потом достать и включить снова. Они были непрерывны. Жизнь не показала Лере ничего больше, кроме родителей-сомнамбул, подруг-мечтательниц, учителей – устаревших роботов, мужа – напряженную мышцу, а теперь детей-игрушек. Лера разглядывала последних с удивлением, но всегда решала, что они + муж и есть то – что ей нужно. По крайней мере, все так говорили.

Три месяца назад Овражина сократили. Он, и так невысокий, – стал ниже. Маршрут его остался – из их города в больший и обратно. Руль его автобуса держал теперь в руках юный сын директора школы. Тот заплатил, чтобы сыну дали эту работу. Новый шофер водил дурно, ронял пассажиров на поворотах, ломал расписание, но люди мирились. Они и его ждали, как не ждали никого другого, только как Овражина прежде.

Овражин играл две недели. Не со своими детьми. Без еды и сна. Не говорил с женой. На экране один за одним гибли вражеские солдаты. Лера тихо приносила еду, уносила чуть расчесанные вилкой блюда. Она ходила по комнате от лысого к кудрявому и не понимала, как быть дальше.

Она никогда не работала. Овражин не зря так сильно держал руками руль. Работа – подобно кентаврам, единорогам, мамонтам – вымерла в их городке; в крупных городах-соседях она попадалась редко, о ней шатались мифы и легенды. Когда дети шли в третий класс, родители принимались считать год выхода знакомых на пенсию. Потом они отправлялись свататься к самым сговорчивым и расположенным из них, лучше бездетным или с уже работающими детьми. Не получалось – находили другого. Если выходило – работающий знакомый год от года рассказывал начальству о растущей достойной замене. Раз в полгода-год родители подкрепляли дело дорогими подарками работающему знакомому. Так ребенку выбиралась про-

фессия. Но раз в декаду случалась дыра – на моментальную вакансию не находилось человека-заготовки. Как было с Овражиным. Прежний водитель вдруг убежал из пункта. Говорили, любовница увезла его на своей машине в большой город. Так тогдашний двадцатидесятилетний Овражин, прежде перебивавшийся случайными заработками, самый молодой, самый трезвый из умеющих водить в округе, сел за руль важнейшего автобуса в пункте. Из таких историй лепили мифы. Не делая из своего ребенка заготовку, не надеясь на удачу – работы можно было добиться только важным знакомством или взяткой. Так поступил директор школы, когда его сын захотел водить овражинский автобус.

Важных знакомств и крупных сумм Овражин не нажил. Из-за прямого и нудного характера у него осталось двое всего друзей. Лера знала, что он никогда не найдет себе места. Он и не находил себе места. Деньги списывались с дебетовой карты. Кредитных Овражины боялись и не заводили. Дети ели по расписанию, и нужно было искать путь спасения.

Овражин не мыслил практично. Он переживал только о гибели своего героизма. Страшно болело, что он не возил теперь людей до источника их существования и обратно. Враги брызгали кровью на экран, это немного обезболивало. На третью неделю Овражин вдруг захотел прогулки. Под удивленным взглядом жены он встал и шагнул в город.

Тот вдруг поразил коренастое овражинское сердце. Овражин рос тут, но постоянно был занят – сначала детством, потом пубертатом, потом следил за дорогой и собирал с пассажиров деньги, дальше добавил себе семью. Не оглядывался по сторонам. Родной пункт оставался вне овражинского внимания. И вот показался при дневном свете. Овражин, отвыкший ходить, ковылял по городу, заваливаясь на обочины, и растирал по лицу соляной раствор.

Асфальтовые опухоли и морщины, заснувшая навсегда мебельная фабрика, бетонные крепости многоэтажек с мутными, почти слюдяными окнами, серые коробки школы и больницы, ржавые детские площадки, супермаркет-на-месте-книжного, пожелтевшие зубы дэкаш-ных колонн, слепой неудачник Ленин, а главное – серо-прозрачные лица людей, не несчастливые, а никогда не знавшие, как подвинуть мышцами кожу для того, чтобы выразить собой счастье. Овражин не помнил, всегда ли город был таким или испортился. На улицах попадались ему дневные люди – пенсионеры, дети, неюные женщины и безработные. Но и работающие люди не выглядели счастливыми. Даже сын директора школы, забравший овражинский автобус, ездил мрачный и нервный.

Овражин осознал, что потеря собственной работы – легкая, грустная инфекция по сравнению с громадной, на тридцать тысяч человек эпидемией общегородского несчастья. Он застрадал и запил. Лера терпела пять дней, а потом стала говорить с ним про работу-вахту в Гулливерии или даже на Холоде, куда ездили мужья ее подруг. Тогда Овражин впервые поднял на нее руку. Лера удивилась с непривычки. Отчим бил мать, но Леру никогда, не из благородства, просто ему было странно бить чужого человека. Лера надулась вместе со своей ушибленной рукой, но легла спать с мужем. Больше некуда, Овражины жили в однушке.

Ладушки-ладушки,
Где были?
В однушке.
Что делали?
Били.
Кого били?
Женушку.
Зачем били?
Дура.

Утром Овражина затянул стыд. Лера и дети ушли гулять до того, как он проснулся. Он отправился их искать и сразу встретил двух смеющихся старух, то есть чудо. Овражин повеселел, забыл про стыд и заметил, что в многоэтажке на четвертом этаже женщина мыла окно. У гаражей на фонаре аист пытался вить гнездо. Пункт вроде как подтянулся. Овражин решил, что завтра начнет искать работу. После ужина он заговорил с Лерой ласково, распустил руки. Она молчала и не двигалась, не понимая, как лучше себя вести. Овражин разозлился, что жена не ценит его, не радуется, не обнимает его, не хвалит его, что он взял себя в руки и захотел искать работу. Он ударил ее во второй раз. Лера ответила ему толчком в грудь. Он ударил ее гораздо сильнее. Лера стукнулась плечом о косяк.

На следующий день интернет сообщил, что их мебельную фабрику купил некрупный феодал из Гулливерии. Город зашатался, задышал часто в предвкушении новых рабочих мест. И сама фабрика не спала больше, а ворочалась, звенела выбитыми окнами. Овражин выпил со знакомым в пивной. По дороге домой он заметил много симпатичных людей.

Лера как робот кормила детей, убирала за ними, мыла их, передавала им игрушки – бессмысленно показывала игрушки игрушкам. Болели плечо и голова. Было то ли страшно, то ли запутанно. Кудрявый терзал детский синтезатор и не чувствовал мать, лысый – всё еще Леру сосущий – через ее молоко впитывал приторное сочетание боязни и растерянности. Овражин вернулся, обнаружил себе раскладушку на кухне, дошел до комнаты и ударил жену в челюсть. Он не понимал, почему в такое время жена пошла против него. Он лег в их кровать, Лера разместилась на кухонной раскладушке. Утром она взяла детей и перешла к родителям.

Овражин проснулся и отправился гулять. У разинутых фабричных ворот стояли три красивые фуры. В конце улицы Эспланадной открылся первый бутик, крохотный, как дамская комната. Овражин котом походил, почесался о красивые шмотки под взглядом-ударом молодой продавщицы. Там же наступил на ногу бывшей классной руководительнице. Та забыла его имя, но вытянула из памяти его курносое лицо. Плача счастливой водой, она поведала, что внучка поступила в Гулливерии в малодоступный институт.

Дома Овражин обнаружил, что Леры нет с детьми и некоторыми вещами. Он нахмурился, женин мобильный не отвечал, позвонил в ее прежний дом, трубку взяла Лерина мама. Она смущалась, говорила шепотом то куда-то, то Овражину в ухо, что так нельзя и что скоро всё наладится. Под «куда-то» пряталась Лера, а фоном пел старший кудрявый сын. Овражин уловил, как в эту симфонию матернулся отчим. Мать Леры бросила трубку. Овражин не расстроился, чувствуя, что всё само разрешится.

Ладушки-ладушки,
Где были?
У бабушки.
Что делали?
От мужа-отца спасались.
Детей кормили.
Детей спать ложили.
С отчимом ругались.
С матерью плакали.

Завтра и послезавтра Овражин кружил по городу в поисках новых счастливых явлений, но никаких, кроме старых, не попадалось. Пункт затужил. Жители носили всё те же мятые лица-авоськи на фоне бетонных стен. Овражин расстраивался, чуял, что город всё-таки тонет, но не думал про сбежавшую семью. Знал – они дышат воздухом пункта рядом, в бетонной коробке тещиной квартиры. Не успел Овражин зарости щетиной, как Лера с детьми вернулись.

Овражин сказал ей, что прощает. Лера ответила, что она его нет. Овражин швырнул жену в полосатые обои и ударил ногой в живот.

На следующий день Овражин встретил у стадиона одного-из-двух-своих-друзей Стасова. Тот оказался перерожденным. Обнял Овражина и рассказал, что его жена ждет ребенка после семи лет попыток. Овражин порадовался за друга, а дойдя до мебельной фабрики, где ставили новые окна, вдруг застыл в озарении. Он понял, что счастье пункта находится в его собственных руках. Всё указывало на это. Овражин затрепетал, задышал всем своим телом-мышцей. Пункт – город счастья, Овражин человек-герой!

С этого дня он бил жену ежевечерне, а следующим утром выходил на улицу собирать плоды своей работы. Бил – ходил. Плоды всегда попадались ему, сами шли ему в руки: то встречался завязавший знакомый алкоголик, то красили забор мебельной фабрики, то толпилась у подъезда свадьба (один раз сына-директора-школы), то открывали первый за много лет в пункте книжный, то вдруг просто улыбались на улице. И всё это Овражин считал своей заслугой, своим подвигом.

Овражину сложно было бить любимую жену. Бить приходилось по-настоящему, он проверял: толчки и постукивания не засчитывались. Он полюбил жену сильнее, ведь она одна страдала за целый пункт. Овражин не искал работу, сейчас он делал то дело, для которого родился, – осчастливливал. Однажды вечером он сломал Лере ее острый нос, на следующий день его позвали шофером на мебельную фабрику. Овражин подумал, вот и ему достался кусочек счастья. Ничего более ему не нужно, кроме жены, детей и любимой работы. Не то что – пункту. Всех его пунктов не счесть.

Ладушки-ладушки,
Где были?
В однушке.
Что делали?
Били.
Кого били?
Женушку.
Сильно били?
Били-били, не убили.
Зачем били?
Чтобы город спасти,
Чтобы работу найти,
Чтобы фабрику открыть,
Чтобы семьи накормить,
Чтобы счастьем одарить.

Лера – нулевая душа, не понимала происходящего. Выходила за одного человека замуж, теперь вон что вышло. Любила больше всего это тело-мышцу, теперь сильнее всего боялась его. Пыталась найти в себе причину-ошибку, молчала, не перечила, делала всё что требовалось, но Овражин не опускал руки. Детей он не трогал, но потерял к ним интерес вовсе. Он не волновался, если дети видели его наступления на мать. Подумаешь, пара маленьких игрушечных глаз, всё равно еще ничего не различают. Раньше ему нравилось отцовствовать, теперь он не глядел ни на лысого, ни на кудрявого, полностью отсутствовал для них. Зачем теперь Овражину дети, когда он – папа всего города?!

Леру принялся крутить страх. Пункт – город-обреченность, Овражин – человек-чудище. Она распознавала его шаги на улице из окна третьего этажа. Тело принималось болеть заранее, желудок сжимался в мятый пакет. Овражин любил Леру как никогда, Лера узнавала

мужа как никогда прежде. Изучила его вдоль и поперек – как ученый исследует опасный вирус или ядовитую тварь. Овражин – супергерой, Лера – суперробот, что сканирует движения через стену, Лера – суперпророк, что предсказывает намерения. По тональности овражинского дыхания Лера научилась понимать, куда он ударит ее сегодня. Когда он приближался с лицом бьющего через силу, она закрывала цель, и он оскорблялся ее противодействию, начинал злиться и бил со звериным выражением.

Лера боялась отбиваться или драться в ответ. Жена – женщина, муж – мужчина. Женщины и мужчины не равны. Женщины не могут быть как мужчины, потому что не могут бить как мужчины. Птица-Лера не способна ударять, как жила-Овражин. По другому поводу Овражин к жене не прикасался, Лера перестала быть для него женщиной, а сделалась вечной такой жертвенностью.

Лера пыталась анализировать. Чувствовать, как действовать дальше. Не хватало опыта и чьей-нибудь помощи. Спросить некого, спрашивать не с кого. К подругам идти – стыдно, к матери снова – бесполезно. Искала правильное следующее движение. Бежать – с двумя ожившими куклами, которые много едят и не любят холод. Куда? Бежать без них? А разве они не то – что ей нужно? Официальные лица и организации Лера не рассматривала, случилась у нее с ними страшная сказка-история в детстве. Никаких кризисных пунктов в их пункте не находилось.

Через запятую в лебединые двадцать два года Лера узнавала взрослые – разочарование, ужас, страх, гнев, отчаяние и смирение. Последнее шло рука об руку с уютным безумием. Лера так хорошо изучила мужа, что стала им. Жила сама, но смотрела его глазами. Вот он в туалете достает член, чтобы помочиться, вот выплывает с балкона, чтобы удостовериться – там никого из горожан и можно сбросить пепел, вот он замахивается, чтобы ударить жену в живот. Жизнь вся заболела, посинела черным и превратилась в незаживающую, ноющую гематому. Для собственного утешения Лера оправдала Овражина и принялась терпеть, считать напасть чем-то вроде холеры, переписывая авторство синяков с мужа на судьбу.

От побоев Лера вся сдулась до кости, нос (даже сломанный) вылез далеко в воздух, серые глаза затянулись мутной пленкой, русые волосы поредели. Она, молчунья, перестала говорить вовсе. Из-за синяков надела длинные рукава и шарфы. На детской площадке мамы триндели, что она заупотребляла наркотики или обратилась в религию. Ее стали обходить стороной. Лысый и кудрявый – свидетели новой родительской жизни – тоже изменились. Кудрявый стал еще громче и резче, лысый еще тише и задумчивее. С кудрявым бросили играть другие невыросшие, а лысый привык пить молоко с привкусом страха и крови.

Овражин ходил героем и светил счастьем. За это его ценили на новой работе. Вместо дерева он принялся возить новое фабричное начальство. Отказывался только от далеких поездок, чтобы не пропускать ни одного дня своего дела. Овражины разбогатели. Муж носил в дом гаджеты, домашнюю технику, дорогие игрушки детям и странные подарки жене: кольцо – на шею в синяках, цветы – не унюхать сломанным носом.

Ладушки-ладушки,
Что делал?
Овражился!
Чего?
Как герой куражился!

Овражин почувствовал, когда жена смирилась. Понял, что пришло время ее осчастливить, открыться ей. За ужином, держа Лерину руку, он растолковал ей их миссию. Говорил, что она – праведная, юродивая, единственная, важнейшая; он – всего лишь герой, а она – святая, спасительница пункта. Рассказывал, как позже напишет книгу, как добьется признания ее свя-

тости, как ее лицо разместят на иконе. Лера слушала и смеялась про себя желудком – муж не стал хуже, муж просто сошел с ума. Тут пожаловал уже повзрослевший, тренированный Лерин страх, замена ума. Объяснил, что хуже всего то, что Овражин во всё это верит. Лера ужаснулась, заорала бесшумно внутри своей груди и попросила не-ясно-что или кого о перемене.

Ладушки-ладушки,
Где были?
Нет ответа.
Что делали?
Нет ответа.
Что сказать хотите?
Не хочу на икону,
хочу в жизнь
смотреть,
на людей
смотреть.
Со своего лица,
а не от стен.
Что желаете?
Перемены.

Ближайшей ночью лысый тихо спал кверху лысиной. Кудрявый сопел, приминая кудри. Овражин давно провалился в здоровый геройский сон. И только Лера не могла заснуть от страшного зуда в плечах – неясно откуда свалившегося. Муж гулял сегодня ногами по ее ребрам, вчера по ногам руками, позавчера трогал тумачами в голову. Проснулась рано от неудобства – под каждое плечо будто подложили по пухлой подушке. В зеркале на сине-зеленой спине отразились две огромные бугорчатые опухоли – по одной на каждой оборотной стороне плеч. Лера не успела расстроиться, вспомнила про свои обязанности, накинула халат и отправилась готовить завтрак.

День прокатился обычным образом. Кукольная скука Леры, набившие оскомину игры: в дочки-матери, в повара, в уборщицу, в покупателя магазина. Всё это – с неуклюжей болью в распухших плечах. Из-за них с трудом Лера поместилась в куртку. От сильного ветра дети звенели музыкальными мобилями. На прогулке Лера вспомнила, что она уже просила о перемене прежде: о прекращении скуки. И вот, чтобы сломать ей скуку, осатанел Овражин. После просьбы о второй перемене – в плечах вылезла какая-то страшная болезнь от постоянного битья и теперь, видимо, надвигалась освободительная смерть.

Вечером пришел Овражин. Лера сразу нащупала, как он напряжен, человек-мышца. Овражин трепетал – пункту сильно нужна была подмога. Наговаривал ласковости, хвалил ужин, улыбался, шутил, брал Леру за руки, целовал их. Завтра решалось, появится ли у фабрики второй цех от инвесторов, что означало много новых рабочих мест, то есть мест в жизни. Овражин знал всё от самого директора, которому стал чем-то вроде правой руки. Доели всё наготовленное. У Овражина чесались руки. Лера уложила детей спать и ушла мыть посуду. Она чувствовала за стенкой геройское возбуждение мужа. Овражин покурил на балконе и пришел на кухню. Сердце ворочалось. Он замахнулся – давно уже не зачинал с женой формальную ссору, а бил так. Лера зажмурилась, покрылась ледяной коростой страха. Она вытянула руки, чтобы прикрыться. Вдруг страх ее сменился громадной злостью. Жуткая боль проколола плечи, раздался резкий тростниковый хруст. Лера удивилась, что муж бьет ее в плечи. Внезапно она схватила его за горло. Овражин по-тараканьи завожился лапками. Лера скрутила ему их за спиной. Застыла и только сейчас рассмотрела, что одной парой рук держит Овражина за

горло, а другой – сковывает его руки. Овражин резко дернулся. Лера бросила его в стенку. Он отскочил и сполз на пол. Мужское тело лежало, удивленное и ударенное, впервые оскверненное женским отпором. Лера стояла растрепанная, четырехрукая, в перекрученном фартуке и глядела на мужа с жалостью и разочарованием. Овражин пополз к двери, выбежал в комнату, дальше на балкон. Тот задрожал от овражинского страха.

В ванной зеркало показало Лере дополнительный набор рук, выросших повыше старых. Эти – новее, без синяков, без поломанных пальцев, не высушенные домашней работой – слушались не хуже ранних и были сильнее и выносливее. Лера замахала всеми четырьмя и засмеялась. Она вернулась на кухню и продолжила мыть посуду: в одной руке держала тарелку, другой терла посудину губкой, третьей рукой споласкивала, четвертой – ставила чистую на полку. Закончила быстро, поправила всеми руками одеяльца на диване и впервые за долгие месяцы заснула спокойным, правильным сном. Овражин, размякший телом-мышцей от страха, торчал старым пуфиком на балконе. Через два часа он отважился, пробрался в комнату, нашел там раскладушку и утащил ее на кухню. Там он не спал всю ночь, ковыряясь глазами в пожелтевшем потолке.

Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Где были?
В однушке.
Что делали?
От мужа отбивались.
Что еще?
Посуду мыли.

Ранним утром Овражин тихо выбирался из квартиры. Кудрявый проснулся и посмотрел на отца. Хотел что-то сказать на своем детском языке, но передумал. Овражин не заметил старшего сына. Нужно было проверить город. Улицы не показали герою ничего определенного. Не происходило ничего особенно хорошего или плохого. Жизнь пункта застыла мутным говяжьим холодцом. Тут давно не случалось счастливых всплесков. Овражин мучился, то ли он плохо старался, то ли жертва его уже не годилась. Фабричные переговоры начались, шли сносно – но шагнули на завтра. По дороге домой начальник поинтересовался, не случилось ли чего у затихшего шофера. Погода висела пасмурная, но безветренная, улицы влажнели прожилками глинистой грязи, но без мусора, люди выглядели занятыми, но не расстроенными. Овражину то и дело мерещилось, что у каждого вылезло по дополнительной паре рук. Выходило, что в пункте Овражин самый несчастливый сегодня человек.

Лера провела сегодня хорошо. Лишняя пара рук оказалась полезной в хозяйстве. Верхними – резала морковь, нижними – мешала лук на сковороде, верхними – пылесосила, нижними – вытирала пыль. В супермаркете (пришлось вырезать в свитере и куртке дыры) нижними – катила коляску, верхними набирала продукты. В парке верхними – катила коляску с лысым, нижними – вела за руку кудрявого. Кроме обычных дел, Лера бойко перемыла, перебрала, переставила – всё, до чего не доходили руки в прежние замужние годы. До овражинского рукоприкладства семья существовала в традиционной дрёме, после – в традиционном аду. Сейчас, как чувствовала Лера, приближалась настоящая живая жизнь.

Детям Лера передала смесь спокойствия с радостью. Они очеловечились, перестали казаться куклами. Она трогала верхними и нижними руками лысого и кудрявого за щеки, уши, плечи, макушки – и чувствовала, какие они теперь живые. Она играла и с лысым, и с кудрявым в ладушки обеими наборами рук одновременно. Верхними – укачивала младшего, нижними

– рисовала со старшим. Кудрявому (лысый не умел пока спрашивать) Лера объяснила, что купила дополнительные руки в магазине для помощи по дому. Это был хороший день. Она не знала, откуда взялись вторые руки. Может быть, Лера превратилась в Лакшми, богиню счастья и благополучия, чтобы действительно сделать пункт лучше. А может быть, и нет.

Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Где были?
В однушке.
Что делали?
Детей кормили,
Посуду мыли,
Пыль вытирали,
Детей расколдовывали,
В ладушки играли,
Лысого качали,
Кудрявому читали.

После работы Овражин пошел не домой, а ко второму своему другу – круглому полицейскому Чашину. Лера кормила детей ужином, укладывала их спать. Укачивала верхними руками младшего, держала нижними книжку старшего и читала про Муми-троллей (нашла книжку, решила, хорошая). Потом мылась в ванной, тщательно намыливалась сразу тремя мочалками, потом вытиралась четырьмя руками и двумя полотенцами. Стоя голая в напаренной комнате, ласково расчесывала свои волосы – по гребню в каждой правой руке, по пряди в каждой левой. Иногда меняла гребень на прядь или прядь на гребень. Потом заплела в четыре руки себе одновременно две косы и ушла спать. Мышца-Овражин и шар-Чашин пили бражное вино, говорили про политику, чуть коснулись жен, углубились в судьбу пункта. Овражин не проваливался в опьянение, а возвышался, распухал над страхом. Он знал, что город нужно спасать.

В час ночи, прямой и упрямый, как голодный упырь, Овражин вернулся в спокойный, спящий дом. Лера, раскинувшись на простынях четырьмя руками / двумя ногами, сладко спала в супружеской постели. Муж тихо пробрался к ней, взял новую верхнюю правую руку, поцеловал, погладил. Лера улыбнулась в ответ, приняв Овражина за условного, абсолютного мужа, которого никогда не встречала. Овражин взял новую верхнюю левую. Погладил, поцеловал тоже, сложил новые руки жены вместе, как покойнице. Лера почувствовала сквозь сон злой овражинский пот. Прежде чем она успела проснуться, Овражин глянул наручниками на ее запястьях и забрался сверху. Овражин одолжил у Чашина наручники под предлогом сложного сексуального приключения. Вторую Лерину пару рук – прежнюю и слабую – Овражин тоже собрал вместе и заковал другими наручниками. Он объяснил круглому полицейскому, что у них с женой особенная любовь. Карябаясь пахом о наручники, Овражин запихнул все четыре женины руки себе между ног, придерживая их одной своей левой за запястья, принялся бить Леру по животу и лицу. Она сжимала зубы, чтобы криком не разбудить детей. Но лысый не спал, а стоял в кровати и разглядывал родителей. Кудрявый сопел или делал вид, что спит, уже взрослый и понимающий, что лучше делать вид, что не видишь. Овражин был уверен, что завтра в пункте наступит новая, счастливая эра.

Лера под ударами рассуждала, на сколько хватит мужа и сколько задержится в живых она сама. Думала, кто завтра покормит детей, если она не сможет. Новое, незнакомое ей ощущение вдруг созрело в распухающей голове. Не злость, не обида, не ненависть, а страстное, пульсирующее желание счастья. Счастливого переворота. Сразу после Лера ощутила жуткую боль в лопатках, по сравнению с ней поблекли, понежнели овражинские удары. Лера вцепи-

лась зубами в случайно забредшую в супружескую кровать мягкую зебру, чтобы заглушить свои крики. Громкие раскаты хруста набили комнату. Увлеченный Овражин пропускал происходящее и замахивался в очередной раз. Из-под Лериных лопаток – как и положено, слева и справа – вылезло по сильной, красивой, новой руке. В двух сантиметрах от Лериного окровавленного лица эта новая пара схватила овражинскую руку. Муж замахнулся левой – снова раздался хруст, и стремительно пророс еще один, четвертый набор рук. Он перехватил овражинскую левую и отвел ее в сторону. Может быть, Лера превратилась в Лакшми, богиню счастья и благополучия, чтобы вправду сделать пункт лучшим местом на земле. А может быть, и нет.

Четырьмя свободными руками Лера скинула Овражина на пол. Покачиваясь, поднялась сама. Овражин отполз к стенке. Заметив проснувшегося лысого, Лера взяла его четырьмя руками и принялась укачивать. Две прежние пары были в бездействии в наручниках. Овражин почувствовал, что пробил наконец час его героического подвига. Он поднялся на ноги и побежал на жену. Лера отняла от младшего одну пару рук и второй, освободившейся, оттолкнула мужа от себя с ребенком. Овражин ударился о шкаф и упал. Вернув лысого в кровать, Лера приблизилась к Овражину, достала ключи из кармана его брюк и освободила свои закованные запястья. Муж покатился и сбил ее с ног. Они завалились вместе. Лера обвила вокруг Овражина двумя ногами и восемью руками. Он задергался всем своим телом-мышцей и заmaterился. Самыми верхними руками Лера схватила его со спины за рот и шею, Овражин выдал кряхтенье вместо ругательств. Она заметила два синих глаза кудрявого, глядящих с кровати. Ослабила хватку на мужниной шее, стиснула свои тощие челюсти, не выпуская добычу из объятий, покачиваясь, поднялась на ноги и всеми восемью руками перетасила Овражина на кухню. Придерживая его обмякшее тело-мышцу новыми четырьмя руками, ударила его двумя свободными парами рук. Потом еще и еще. Била не очень долго, уставая, делая передышки, не из мести даже, а чтобы успокоить. Нижними руками пришлось закрыть ему рот. Дети спали по соседству, а Овражин, в отличие от Леры, совсем не терпел боли.

Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Ладушки-ладушки,
Где были?
В однушке.
Что делали?
Били.
Кого?
Мужа-перемужа.
Чем били?
Руками третьими и четвертыми.
Чем держали?
Руками первыми и вторыми.
Как рот закрывали?
Руками первыми или вторыми.
Сильно били?
Били-били, не убили.
Зачем били?
Чтобы случилась перемена.
Зачем менять?
Чтобы монстра унять.

Зачем?
Чтобы приблизиться к покою,
А потом к счастью,
Мне и детям – бывшим игрушкам.

Утром Овражина увезли на «скорой», которую он сам себе вызвал. К Лере прикатился круглый взволнованный Чашин. Она в опухшем до пуховика халате, с опухшим от побоев лицом сказала, что муж пришел домой уже битый. Чашин – не слепой, заподозрил тут взаимную связь повреждений. Но, помня, что сам одолжил другу наручники (которые нашел на полу и тихо забрал), решил всё замять.

Фабричный начальник запереживал о правой своей руке, приехал лично в больницу и заплатил за медицинские услуги. Потом позвонил жене шофера – протянуть руку помощи, но Лера сказала, что справляется, держа трубку в одной ладони, чашку чая в другой, блин с вареньем в третьей, поправляя прядь четвертой.

Три недели Овражин пролежал на самом дне своего страха в больнице. Лера водила к нему детей и носила гостинцы. При их появлении Овражин вжимался в стену и молчал, круглыми от ужаса глазами щупая широкое Лерино пальто, под которым жили вторые, третьи и четвертые руки. Кудрявый говорил с отцом, лысый гугукал, но Овражин не реагировал. Лера улыбалась и разносила по палате печенье. Муж всё равно ничего не ел из ее рук. Соседи по палате сочувствовали, что парень никак не придет в себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.